

06
С-

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

2
1991



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАРТ — АПРЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

2

1991

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

<i>Достян И. С.</i> Политика царизма в Восточном вопросе: верны ли оценки К. Маркса и Ф. Энгельса	3
<i>Кузнецовский В. Д.</i> Какая концепция самоуправления осуществлена в Югославии? (Реквием по Борису Кидричу)	17
<i>Борисенок Ю. А.</i> Контакты М. А. Бакунина с представителями польского освободительного движения накануне революций 1848—1849 годов	30
<i>Фрейденберг М. М.</i> Проблемы истории Дубровника: рагузистика за последние двадцать лет	41
<i>Сляский Ян. (ИР).</i> Из истории итальяно-польско-восточнославянских литературных связей XVI—XVIII веков	51
<i>Липатов А. В.</i> Эволюция романа-эпопеи («Ночи и дни» Марии Домбровской: жанровые традиции и авторская индивидуальность)	63
<i>Ковтун Е. Н.</i> Фантастика Герберта Уэллса и Карела Чапека	75
<i>Орел В. Э.</i> Балтийская гидронимия и проблемы балтийского и славянского этногенеза	83
<i>Масленникова Л. И.</i> О судьбе имен существительных общего рода в одном польском говоре на территории Литвы	87

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

<i>Кишкин Л.</i> Галерея русской живописи в Находе (К истории чешско-русских связей в области искусства)	95
<i>Рокина Г.</i> Неопубликованная рукопись Яна Коллара «Die Gotter von Retra»	103

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Марьина В. В.</i> Gebhart J., Koutek J., Kuklik J. Na frontách tajné války. Kapitoly z boje československého zpravodajství proti nacismu v letech 1938—1941	107
<i>Семенов К. Д.</i> Петрова. Самостоятельного управления на БЗНС. 1920—1923 гг.	100

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ АН СССР

<i>Мельников Г. П.</i> J. Pánek. Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance . . .	111
<i>Цейтлин Р. М.</i> Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1. Úvod, zkratky. A — blagъ	113
<i>Д. С.</i> Украинская литература в общеславянском и мировом литературном процессе	115

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Васильев М. А.</i> Создание Научного центра общеславянских исследований . .	117
<i>Досталь М. Ю.</i> IV Пичетовские чтения	120
<i>Булатова Р., Дыбо В.</i> Конференция «Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе»	123

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, В. Н. ФЛОРЯ

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*

Отделение истории АН СССР
Институт славяноведения и
балканистики АН СССР

© Издательство «Наука»,
«Советское славяноведение», 1991 г.



ДОСТЯН И. С.

ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ: ВЕРНЫ ЛИ ОЦЕНКИ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

Политика в Восточном вопросе¹, занимавшая, начиная с последней трети XVIII в., значительное место во внешнеполитическом курсе России, постоянно привлекала внимание К. Маркса и Ф. Энгельса, что нашло отражение в их публицистических произведениях и эпистолярном наследии. Поэтому каждый историк, изучающий особенности, цели и историческое значение этой политики, не может не учесть высказываний основоположников марксизма по этой тематике, составляющих достаточно стройную и четкую концепцию.

Эта концепция начала складываться в конце 1840-х годов, в значительной мере под влиянием того, что в революционных событиях 1848—1849 гг. царизм сыграл реакционную роль, а окончательно она оформилась накануне и в ходе Крымской войны, оставшись в дальнейшем почти неизменной.

В 1853—1855 гг. Маркс и Энгельс опубликовали в американской газете «New York Daily Tribune» и некоторых других изданиях ряд статей, в которых беспощадно обличалась экспансионистская, великодержавная внешняя политика царизма. В это же время Маркс (в содружестве с Энгельсом) написал введение к оставшейся незаконченной работе по истории русско-английских отношений, в котором давались аналогичные характеристики внешней политики Русского государства и выдвигалась распространявшаяся в западноевропейской публицистике в годы Крымской войны идея о возвращении России к границам начала XVII в., лишении ее выхода к морям [2, № 1—4].

Такая же интерпретация целей и характера русской внешней политики содержалась в памфлете Маркса «Господин Фогт» (1860), а 30 лет спустя в основных чертах повторена Энгельсом в статье «Внешняя политика русского царизма» [1, т. 22, с. 11—52]. Хотя к 1890 г. «жандармская» роль России в международной жизни Европы значительно сократилась, Энгельс исходил из прежней задачи — обличить царизм как последний оплот европейской реакции, как главного душителя революционно-демократического движения.

Достян Ирина Степановна — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Существуют различные определения содержания и географических рамок понятия «Восточный вопрос», иногда очень широкие. Наиболее распространенное толкование этого термина: борьба держав вокруг решения вопроса о судьбе проливов из Черного в Средиземное море — Босфора и Дарданелл — и владений Османской империи в Юго-Восточной Европе. Именно так характеризовал существо Восточного вопроса Энгельс [1, т. 22, с. 49].

Бросается в глаза, что в названных и других произведениях важным доказательством неизменно агрессивных действий царизма, его стремления «основать свое царство на развалинах Европы» служит политика в Восточном вопросе, преследовавшая, по мнению К. Маркса, цель: во-первых, овладеть Константинополем и проливами, затем подчинить себе всю Европейскую Турцию и Восточное Средиземноморье. После этого Россия двинется на запад, в глубь Европы, аннексирует Венгрию, Пруссию, Галицию, создаст грандиозную «славянскую империю» и обеспечит себе мировое господство [1, т. 9, с. 14—15, 31—36, 238—240, т. 11, с. 206, 208, т. 13, с. 631, т. 14, с. 502—551, т. 22, с. 18, 32]. Эта картина поработанной в результате «панславистского заговора» «варварским государством» цивилизованной Европы дополнялась описанием всеисилия русской дипломатии — «современного ордена иезуитов», основательницей которого была объявлена Екатерина II [1, т. 22, с. 14—16].

Маркс и Энгельс не без основания заключали, что для царизма войны с Османской империей, победы в них были способом отвлечь народные массы от социальных проблем, укрепить самодержавный режим, отсрочить наступление революции в самой стране. Поэтому они нетерпеливо ожидали поражения России в этих войнах.

В период Восточного кризиса 1870-х годов и после него Маркс и Энгельс резко отрицательно относились к развернувшемуся в это время национально-освободительному движению балканских народов, полагая, что православное и славянское население Балканского полуострова видело в царе своего единственного освободителя и поэтому в войнах с Турцией неизменно становилось на сторону России, облегчая ее победу. «Пока дело обстоит таким образом,— писал Энгельс в 1882 г.,— я не могу интересоваться их (славянских народов.— *И. Д.*) непосредственным, немедленным освобождением, они остаются нашими прямыми врагами в такой же мере, как и царь — их союзником и покровителем... Победа пролетариата с необходимостью принесет им действительное освобождение, а не мнимое и временное, какое может дать им царь» [1, т. 35, с. 230]. Таким образом, перспектива национального и социального освобождения балканских народов в принципе не отрицалась, но связывалась с крушением царизма и с будущей европейской революцией, а не с успехами захватнической политики царизма на Востоке.

Основоположники марксизма, конечно, считались с реальными историческими фактами и не отрицали решающую роль России в закреплении автономных привилегий Дунайских княжеств, в завоевании независимости Сербии «во внутренних делах», в исходе борьбы греков против турецкой власти [1, т. 9, с. 10, 23, 32, т. 14, с. 511—512]. Они верно подметили, что царизм быстро терял свое влияние в молодых балканских государствах, созданных при его поддержке. «Как бы ни связывала русских и турецких славян их родственная близость и общность религии, все же их интересы начнут решительно расходиться с того дня, когда последние обретут свободу. Торговые потребности, вытекающие из географического положения обеих стран, делают это понятным», — писал Энгельс, имея в виду Сербию, которая не у России, а у Западной Европы должна была заимствовать свои политические учреждения, свои школы, свою науку, свою промышленную организацию [1, т. 9, с. 34].

Маркс и Энгельс клеймили во время Крымской войны политику западных держав, Великобритании в особенности, направленную на поддержание status quo на Балканах и Ближнем Востоке. Для них было очевидным, что «от турок следует освободиться», «что пребывание турок в Европе представляет собой серьезное препятствие для развития всех ресурсов, которыми обладает фракийско-иллирийский полуостров» [1, т. 9, с. 6, 26]. Но не Россия должна осуществить эту задачу. «Решение турецкой проблемы, как и других великих проблем, выпадет на долю европейской революции... Ее последними рубежами были Варшава, Дебрецен, Бухарест; аванпостами ближайшей революции должны быть Петербург и Константинополь», — писал Энгельс в 1853 г. [1, т. 9, с. 33]. А в 1877 г. Маркс надеялся, что поражения в войне с Россией заставят турок «восстать против их

старого режима», что это приведет государство османов к «потрясению, которое в своем конечном результате покончит со всем теперешним status quo старой Европы» [1, т. 34, с. 41, 190]².

Такой поворот событий, конечно, был бы чрезвычайно благоприятным для прогресса всех европейских народов. Но действительность не оправдала этих надежд. Не революция, а победа России в войне с Османской империей 1877—1878 гг. привела к освобождению Болгарии от турецкого ига, к провозглашению независимости Сербии, Черногории, Румынии.

Можно представить себе логический путь возникновения у Маркса и Энгельса концепции об исторической роли России и ее внешней политики. Как заключает М. Я. Гефтер, она окрашена воспоминаниями 1848 и 1849 гг., когда в качестве жандарма Европы выступила Россия. Ее существование было несовместимо с революцией, демократическим развитием в Европе. «Быть или не быть европейско-всемирной революции — значит быть или не быть Российской империи. Приговор Маркса: империи „московитов“ — не быть. Все усилия сюда» [4]. Добавим: все усилия, чтобы не допустить осуществления чаяний царизма — захвата Константинополя и проливов, освобождения с русской помощью балканских народов от турецкой власти.

Такой подход был естественным для заинтересованных современников, для революционеров XIX столетия, добивавшихся всеми средствами «великой цели» — пролетарской революции. Ведь Маркс и Энгельс не были беспристрастными исследователями международной жизни Европы, историками, которые уже с определенной временной дистанции объективно должны анализировать произошедшие события, их причины и последствия.

Важно отметить, что точка зрения Маркса и Энгельса на историю России и ее внешней политики в значительной мере определялась характером литературы, находившейся в их распоряжении. Они пользовались работами западноевропейских историков, которые не всегда отвечали тогдашнему уровню науки [2, № 1, с. 6—7]. Источники, которые подкрепляли их выводы, часто были очень тенденциозными, как можно проследить по отсылкам и упоминаниям в некоторых статьях, затрагивавших Восточный вопрос, в борьбе с царизмом нередко использовались данные публицистики и литературы русофобско-туркофильского толка, получивших значительное распространение в Западной Европе в 40—70-е годы.

М. Н. Покровский первым предпринял попытку рассмотреть внешнюю политику Российской империи, исходя из марксистского понимания исторического процесса, с учетом взаимосвязи внутренней и внешней политики, классовой обусловленности последней и большого влияния на нее экономического фактора. При этом он воспринял тезис Маркса и Энгельса об извечной агрессивности царизма. Когда же в 30-х годах начался пересмотр всей исторической концепции Покровского, подверглись жесткой критике и его взгляды на внешнюю политику России, в том числе касавшуюся Восточного вопроса [5]. Об отходе советских историков от взглядов Покровского свидетельствовали появившиеся накануне и в годы Великой Отечественной войны капитальные труды «История дипломатии» и «Крымская война» Е. В. Тарле.

Пересмотр взглядов на внешнюю политику царизма был стимулирован появлением в журнале «Большевик» перед самым началом войны письма И. В. Сталина к членам Политбюро ЦК ВКП(б) под названием «О статье Энгельса „Внешняя политика русского царизма“» [6]. До середины 50-х годов это письмо Сталина, написанное еще в 1934 г., воспринималось как директива. Позднее оно критиковалось, но лишь в отношении несогласия Сталина с трактовкой Энгельсом международных отношений конца XIX в. [1, т. 22, с. XXXIII; 7, с. 805—806; 8, с. 417—419]. Между тем письмо состояло из двух пунктов, и первый из них касался характеристики Эн-

² Болгарский историк И. Тодев в недавно опубликованной статье доказывает, что Маркс и Энгельс считали сохранение Турции необходимым хотя бы до падения царизма [3, с. 89]. Но, как нам представляется, это еще не свидетельствует о том, что они были принципиальными сторонниками сохранения Османской империи.

гельсом внешней политики царизма в целом, ее побудительных причин и способов осуществления. Сталин писал: «Характеризуя завоевательную политику русского царизма и воздавая должное мерзостям этой политики, Энгельс объясняет ее не столько „потребностью“ военно-феодально-купеческой верхушки России в выходах к морям, морских портах, в расширении внешней торговли и овладении стратегическими пунктами, сколько тем, что во главе внешней политики России стояла якобы всемогущая и очень талантливая шайка иностранных авантюристов, которой везло почему-то везде и во всем, которой удивительным образом удалось преодолеть все и всякие препятствия на пути к своей авантюристической цели, которая удивительно ловко надувала всех европейских правителей и добилась, наконец, того, что сделала Россию самым мощным в военном отношении государством. Такая трактовка вопроса в устах Энгельса может показаться более чем невероятной, но она, к сожалению, факт» [6, с. 2].

Как видим, Сталин воспроизвел некоторые давно утвердившиеся в марксизме положения относительно побудительных причин, классовой сущности внешней политики буржуазных и империалистических государств, в частности, России. Он довольно точно пересказал характеристику русской дипломатии, данную Энгельсом, и популярно объяснил ее несостоятельность, подчеркнув, что «завоевательная политика со всеми ее мерзостями и грязью вовсе не составляла монополию русских царей», а была присуща королям и дипломатам всех стран Европы [6, с. 3]. В письме отмечена и очевидная особенность произведения Энгельса — памфлетность. «Статья Энгельса — хороший боевой памфлет», направленный против русского царизма, но он «несколько увлекся и, увлекшись, забыл на минутку о некоторых хорошо известных ему вещах», — писал в заключение Сталин [6, с. 3].

«Забывчивость» и «невероятную трактовку» Энгельсом российской внешней политики, конечно, замечал любой квалифицированный историк, но в СССР только «вождь всех народов» мог разрешить себе сказать об этом, правда, в достаточно мягкой форме. Напрашивается вопрос: что побудило Сталина опубликовать весной 1941 г. письмо, написанное почти семь лет назад? Можно предположить, что это было связано с международной обстановкой накануне Великой Отечественной войны и имело скрытую цель — противодействовать неблагоприятной интерпретации внешнеполитических акций в отношении Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтийских государств, акций, позволявших ассоциировать внешнюю политику СССР и царизма. Но завоевательная сущность последней была столь ярко описана Энгельсом, что его памфлет, который был написан в 1890 г., мог стать злободневным и пятьдесят лет спустя.

Замечания Сталина отрицательно повлияли на советскую историографию; стимулировали тенденцию смазывать завоевательный характер российской внешней политики, и в частности политики в Восточном вопросе. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что с наступлением «холодной войны» зарубежная публицистика и историография рассматривали внешнюю политику СССР как непосредственное продолжение внешней политики царизма [9, с. 70—72; 10; 11, с. 34—47]. Такой принцип полностью распространялся на интерпретацию задач и методов политики СССР после второй мировой войны в отношении славянских и балканских народов (см., например, [12, с. 417—451]). В связи с этим стали публиковаться и популяризироваться статьи и высказывания о внешней политике России, о Восточном вопросе Маркса и Энгельса, взгляды которых подключались к системе доказательств стремления России, а затем и СССР, к мировому господству. Так например, в США и ФРГ издавался и переиздавался сборник «Маркс против России» [13, с. 116—123].

На протяжении прошедших 40 лет нашими историками велось изучение политики России в отношении Османской империи и балканских народов в XVIII—XIX вв. В научный оборот введено громадное количество новых документов, которые позволили достаточно конкретно, более точно фактологически изучить указанную проблематику, а выводы и наблюдения подкрепить данными источников (см. обзоры этих трудов [14]).

Исследования отдельных периодов и частных вопросов позволили подготовить коллективные обобщающие труды по данной тематике [15; 16; 17; 18; 19]. В них, так же как в статьях и монографиях, обычно излагались некоторые высказывания Маркса и Энгельса о российской политике в отношении Турции и балканских народов, но важнейшие стороны их концепции не затрагивались. Существовал стандартный набор цитат из произведений классиков марксизма, которые должны были как бы подкреплять выводы авторов, служить доказательством владения марксистско-ленинской методологией. Критиковать или опровергать какое-либо из высказываний Маркса и Энгельса не полагалось. Разрабатывались преимущественно периоды и проблемы, которые выявляли положительные последствия российских акций. В результате некоторые этапы российской политики (например, последние десятилетия XVIII в., 1830—1840-е годы) остаются слабо разработанными.

Советские историки-балканисты обычно исходят из следующего тезиса: политика в Восточном вопросе, несмотря на ее агрессивные цели, имела объективно положительное значение для народов Юго-Восточной Европы, так как содействовала их освобождению от чужеземного ига, стимулировала этот процесс. Данное заключение обосновывается тем фактом, что небольшим и разобщенным между собой народам без военной и дипломатической поддержки извне гораздо труднее было бы добиться успеха в противоборстве с еще достаточно сильной военно-феодальной державой. Только такое государство, как Российская империя, мощное и внешнеполитически активное, для которого ослабление или полное сокрушение Османской империи представляло непосредственный интерес, могло содействовать образованию на месте турецких владений национальных государств, ускорять этот нелегкий процесс. Среди великих европейских держав Россия была единственной, долгосрочные задачи политики которой в Восточном вопросе оказались благоприятными для балканских народов. Победы России в войнах с Османской империей облегчили успехи греческого, сербского, румынского, болгарского освободительных движений. Эти факты подтверждают общий вывод об объективно прогрессивных результатах политики России в отношении Турции и балканских народов. Однако вряд ли следует эту формулу абсолютизировать, превращать в ключ к пониманию балканской политики царизма, в критерий ее оценки. Такой подход вел бы к разрыву целей и результатов этой политики. Между тем на ее результаты активно влияли своекорыстные цели царизма [8, с. 422].

Политика России в Восточном вопросе не была столь заострена неизменной и к тому же всегда успешной, как это представляли себе Маркс и Энгельс. Ее непосредственные цели, ее приемы менялись. При этом учитывались прежние просчеты и неудачи, а их было немало. Сказывалось и воздействие на внешнеполитический курс, ответственность за который всегда несли сами российские самодержцы, взглядов группировок близких ко двору сановников, а позднее и общественного мнения. Поэтому побудительные причины, содержание, да и результаты политики царизма как для балканских народов, так и для самой России, для ее государственных интересов были многообразными и иногда противоречивыми.

Последняя треть XVIII в. ознаменовалась крупными успехами политики Екатерины II в отношении империи османов, которые способствовали подрыву ее могущества. В результате войны 1768—1774 гг. Россия закрепилась в Северном Причерноморье, затем приобрела Крым (1783). Черное море было открыто для русского торгового судоходства, Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г. положил начало покровительственной политике петербургского двора в отношении православных подданных султана. Война 1787—1791 гг. оказалась менее удачной, но ее результаты как бы подкрепили прежние успехи.

В ходе этих двух войн наглядно обнаружилось стремление царизма использовать антитурецкое освободительное движение балканских народов в интересах борьбы с Османской империей. В начале войны 1768—1774 гг. правительство Екатерины II решило подкрепить действия российского флота, направленного в Средиземное море, помощью со стороны греков

и других подданных султана. Их призвали к восстанию, обещав содействовать освобождению от турецкой власти, хотя подобной задачи русское правительство в это время не ставило, да и не имело достаточных сил и возможностей для оказания помощи повстанцам. Восстание, поднявшееся в Морее, было подавлено, и за авантюру царизма жестоко поплатились греки [20, с. 78—83]. Этот урок не был забыт их потомками. О вине России в трагедии греков впоследствии не раз напоминали читателям западноевропейские публицисты. Использовал это событие и Энгельс, по прошествии более чем столетия не без основания утверждавший, что восставшие греки Морей были «брошены русским правительством на произвол судьбы» [1, т. 22, с. 25]. Но важно отметить, что урок морейского восстания не был забыт и в Петербурге. В последующих русско-турецких войнах царское правительство действовало в этом вопросе более осмотрительно.

В политике России по отношению к Османской империи и балканским народам периода наполеоновских войн были неудачи и просчеты, иногда применялись грубые методы в отношении слабой стороны (например, попытки смещения черногорского митрополита в 1803 г. или вмешательства российского представителя К. К. Родофиникина во внутренние дела повстанческой Сербии). Но такие методы не способствовали укреплению русского влияния в европейских провинциях Турции и даже начали встречать отпор, с чем в Петербурге приходилось считаться.

В это бурное время, когда на Балканах и в Восточном Средиземноморье все сильнее сталкивались интересы великих держав, правительство Александра I не отказывалось от экспансионистских замыслов в рассматриваемом регионе, о чем, в частности, свидетельствуют переговоры о разделе Турции, которые велись в 1807—1808 гг. с Наполеоном, правда, по инициативе последнего. Хотя в ходе этих переговоров речь шла и о передаче России Константинополя и проливов, задача русской дипломатии, по существу, сводилась к получению согласия французского императора на присоединение Молдавии и Валахии [21, с. 168—180, 210—228; 22, с. 97—121]. Эта цель была осуществлена лишь отчасти приобретением по Бухарестскому договору с Портой Бессарабии и выходом к устью Дуная. «Тот, кто держит в своих руках устье Дуная, господствует и над самим Дунаем — этим путем в Азию, — а вместе с тем в значительной мере и над торговлей Швейцарии, Германии, Венгрии, Турции и главным образом Молдавии и Валахии», — писал впоследствии Маркс [1, т. 9, с. 408]. Но выйдя в 1812 г. к устью Дуная, закрепив свой контроль за выходом этой реки в Черное море приобретением в 1829 г. и островов в устье Дуная, Россия все же не обрела господства над торговлей названных стран ввиду своей экономической отсталости. Она даже не смогла обеспечить себе преобладание в торговле Дунайских княжеств.

Россия сыграла решающую роль в крушении наполеоновской Франции, однако это не дало ей реальных преимуществ в политике по Восточному вопросу. Принципы легитимизма и консерватизма в межгосударственных отношениях, провозглашенные на Венском конгрессе и подкрепленные созданием Священного союза, определили характер всей дальнейшей внешней политики царизма. Активность России в отношениях с Турцией и балканскими народами сковывалась международными договорами и обязательствами. К тому же страна была чрезвычайно ослаблена непрерывными войнами и нуждалась в передышке. И все же обострение русско-турецких отношений привело уже в 1814—1815 гг. к появлению подозрений и слухов, что после урегулирования основных европейских проблем Россия начнет войну, чтобы сокрушить Османскую империю [16, с. 69]. Такие предположения, распространившиеся в западноевропейской публицистике, по-видимому, в дальнейшем повлияли на представления Маркса и Энгельса о тогдашнем внешнеполитическом курсе царизма. «Для русской дипломатии речь шла лишь о том, чтобы использовать достигнутую в Европе гегемонию с целью дальнейшего продвижения к Царьграду», — писал, например, Энгельс [1, т. 22, с. 32]. Но каких-либо документальных свидетельств об оживлении у петербургского самодержца мечты о сокрушении в ближайшее время своего давнего врага — Османской империи —

не имеется. Наоборот, изучение конкретных акций царизма в отношении Турции и ее балканских подданных после окончания наполеоновских войн убеждает, что замыслы дальнейшей территориальной экспансии в этом направлении решительно отвергались. Главной задачей стало — урегулировать разногласия с Портой дипломатическим путем, избегая всякого повода к возникновению нового военного конфликта. Сильно ощущалось также стремление не задевать интересы Австрии как союзной державы, да к тому же непосредственно связанной с балканскими делами [23, с. 334—335].

«Русское золото и русское влияние в большей или меньшей степени непосредственно содействовало вспышке сербского восстания 1804 г. и восстанию греков в 1821 году», — писал Энгельс перед началом Крымской войны [1, т. 9, с. 21]. Вопрос о причинах этих восстаний не вызывает каких-либо споров в историографии. Они возникли вследствие глубоких внутренних причин: дальнейший общественно-экономический прогресс этих народов был несовместим с сохранением власти отсталой военно-феодальной Османской империи. Отметим также, что в 1804 г., когда началось сербское восстание, правительство Александра I, поддерживавшее дружеские отношения с Портой, прикладывало все усилия, чтобы сдерживать антитурецкие выступления ее подданных, ибо они могли быть использованы наполеоновской Францией.

Революционно-патриотическая организация греков «Филики Этерия» возникла и действовала на территории России, и в историографии высказывались мнения, что это происходило с ведома и при подстрекательстве правительства Александра I [20, с. 17—19]. Однако в настоящее время можно считать доказанным, что это тайное общество не было связано с царским правительством. Когда весной 1821 г. началось восстание этеристов в Дунайских княжествах, а затем поднялись на борьбу греки в Морее, находившийся в Лайбахе на конгрессе Священного союза Александр I решительно осудил восставших греков, постарался отвести всякие подозрения о причастности России к подготовке этих революционных акций. И тем не менее представление, будто Россия была подстрекателем и организатором революционных выступлений 1821 г., надолго закрепилось в западноевропейской публицистике, что несомненно способствовало проникновению этой ложной версии в произведения Маркса и Энгельса. Так, в памфлете «Господин Фогт», разоблачая попытки представить Александра I как «героя либерализма во всей Европе», защитника национальных стремлений, Маркс писал: «Разве не был он тайным вождем „Гетерии“, хотя одновременно с этим на Веронском конгрессе, через продажного Шатобриана, побуждал Людовика XVIII выступить в поход против испанских мятежников?... Разве он не послал в Валахию Ипсиланти в качестве „вождя священной дружины эллинов“ и с помощью того же Ипсиланти не предал эту дружину и не убил коварно Владимиреску, вождя валахских повстанцев?» [1, т. 14, с. 511—512].

Александр I, конечно, был хитрым «византийцем», но грехов, в которых его упрекает Маркс, он не совершал и столь двуличной политики в балканских делах не вел, ибо более всего страшился возникновения революционного движения в своей стране, в Европе, в том числе и на Балканах. Правда, резко отмежевываясь от восставших греков, царское правительство не могло отказаться от своей роли державы-покровительницы православных народов, от задачи поддержания своего политического влияния среди подданных султана. К тому же необходимо было защищать экономические интересы южнорусского дворянства и купечества — ведь торговле через Черное море и проливы наносился большой ущерб из-за запретительных мер Порты. Все это делало неизбежным вмешательство в греко-турецкий конфликт России, а затем и других великих держав [24; 25, с. 17—87]. Так возник Восточный кризис 20-х годов XIX в.

Все попытки разрешить этот кризис дипломатическими средствами не имели успеха, и в 1828 г. началась новая русско-турецкая война. Летом 1829 г. русские войска перешли Балканский хребет, овладели без боя Адрианополем и подошли к Стамбулу. Тогда Николай I отдал приказ

остановить наступление. Впоследствии царь не преминул напомнить англичанам о своей «подлинной умеренности», проявленной после этой победы над Турцией. Разоблачая такого рода заявления, Маркс писал: «На самом деле ему тогда помешали проявить неумеренность лишь жалкое состояние его армии и угроза английского адмирала подвергнуть бомбардировке — с разрешения или без разрешения своего правительства — каждый населенный пункт на побережье Черного моря» [1, т. 9, с. 202]. Действительно, вряд ли смогли бы 20 тыс. измотанных тяжелым наступлением русских солдат, которых имел в своем распоряжении главнокомандующий И. И. Дибич, довершить разгром Османской империи и овладеть ее столицей, избежав при этом вмешательства Великобритании. Даже если бы это произошло, то привело бы к серьезным осложнениям в международной обстановке, к дележу турецкого наследства и помешало бы консолидации сил европейской реакции, о чем Николай I заботился в первую очередь.

Но еще одна причина побуждала царское правительство стремиться как можно скорее заключить мир с султаном, не доводя дела до сокрушения его власти в Европейской Турции, — боязнь расширения революционного национально-освободительного движения балканских народов. Правда, перед началом войны составлялись планы использования помощи русским войскам со стороны местного населения в ходе военных операций на балканском фронте, но прибегать к таким «революционным» методам в войне с Турцией Николай I не захотел. Это могло привести к «общему потрясению» на Балканах, вывело бы этот регион из-под контроля России и других великих держав.

В войне 1828—1829 гг. наметился дальнейший рост реакционных тенденций в политике России на Балканах, что не способствовало расширению там национально-освободительного движения. Вместе с тем нельзя отрицать, что эта война и условия Адрианопольского мира значительно ускорили процесс распада Османской империи и выделения из ее состава национальных государств. Порта, наконец, признала автономию Сербского княжества, территория которого вскоре значительно увеличилась. Были еще раз подтверждены и несколько расширены права Дунайских княжеств. Хотя официально решение греческого вопроса не входило в задачи русско-турецкой войны, именно победа в ней России привела к провозглашению самостоятельности Греции.

Но закрепить русское политическое преобладание в Греческом королевстве Николай I так и не смог. Активное вмешательство, начиная с 1823 г., Великобритании в разрешение греко-турецкого конфликта увеличило число сторонников проанглийской ориентации среди греческих общественных деятелей; росло и влияние Франции. Несколько укрепило позиции Петербурга в Греции избрание Каподистрии греческим президентом в 1827 г., но через несколько лет (в 1831 г.) он был убит. Маркс так иронически интерпретировал эти события: «Разве Николай, в своей отеческой заботе о греках, не дал им в президенты русского генерала, графа Каподистрию? Но греки не были французами и убили благородного Каподистрию» [1, т. 14, с. 512].

Между тем бывший российский статс-секретарь по иностранным делам И. Каподистрия был избран президентом Греции на 7 лет без какого-либо давления Петербурга. Он пал жертвой заговора, к которому, по видимому, были причастны английские или французские дипломаты, находившиеся в Греции.

Эпоха правления Николая I ярко иллюстрирует марксистский тезис о взаимосвязи и взаимозависимости внутренней и внешней политики. Реакционность всего российского режима второй четверти XIX в. определила курс на поддержание целостности и неприкосновенности Турции, который, в свою очередь, обусловил реакционный характер ряда акций в отношении балканских народов.

После революции во Франции и Польше 1830—1831 гг. главной задачей правительства Николая I стало противодействие распространению в стране и за ее рубежами революционных движений. Имелись опасения

(усиленно разжигавшиеся Австрией), что они начинают развиваться и на Балканах. Поэтому держава-покровительница считала своим долгом препятствовать распространению там «революционной заразы». К этому добавлялось стремление заслужить дружбу и доверие Порты, что заставляло идти ей на уступки нередко в ущерб народам, борющимся против нее. Надежды на укрепление русского влияния в молодых балканских государствах Николай I связывал с распространением консервативных и монархических идей, с общностью веры и более всего опасался возникновения в этом регионе самостоятельных общественных и национально-освободительных движений [17, с. 7—9].

Все это, конечно, было известно западноевропейским кабинетам, но не исключало их подозрений, что Россия по-прежнему стремится сокрушить южного соседа и освободить своих единоверцев. Такого рода представления, отражавшиеся в западноевропейской публицистике (особенно в годы Крымской войны), впоследствии были взяты на вооружение Марксом и Энгельсом в их борьбе с царизмом. Это ясно прослеживается, например, в памфлете «Господин Фогт». «Хотя Николай, со времени взрыва июльской революции 1830 г., играл главным образом роль покровителя легитимистов, он ни на минуту не переставал оказывать содействие „освобождению национальностей“», — писал Маркс, имея в виду освобождение балканских «национальностей» [1, т. 14, с. 512]. Такое утверждение (как и обосновывавшие его некоторые эпизоды из истории балканской политики Николая I) не соответствовало реальным фактам: принципы легитизма и консерватизма во внешней политике, курс на поддержание существования Османской империи исключили поддержку или заинтересованность царизма в расширении национально-освободительного движения балканских народов.

Отношение петербургского двора к этой проблеме изменилось лишь накануне и на первом этапе Крымской войны, когда Николай I вообразил, что приходит последний час империи османов и довершить ее гибель смогут «народные восстания за независимость». Подданных султана решили призвать к восстаниям, к помощи русским войскам. Но ход войны вскоре разрушил эти замыслы; попыток практически осуществить их так и не было предпринято. Как верно заключил С. А. Никитин, все эти события свидетельствовали, что российское правительство смотрело на балканские народы как на средство осуществления своих военно-политических планов и не учитывало собственных интересов этих народов. Последние же показали, что не станут подниматься на борьбу по мановению руки «покровителя православия» [26, с. 110—145].

Если проследить изменение соотношения сил в борьбе великих держав в Восточном вопросе с конца 20-х до середины 50-х годов, станет очевидным, что Россия год за годом отступала, теряя свои позиции в Османской империи. Вершиной ее реальных успехов остался, как представляется, Адрианопольский мир 1829 г., ибо Ункяр-Искелесийский союзный договор с Портой (1833), согласно которому Дарданеллы закрывались для иностранных военных судов, при всей его внешней выгоде для России остался мертвой буквой. К тому же он вызвал резкое противодействие великих держав, в особенности Великобритании, русской политике на Балканах и Ближнем Востоке.

Уже с середины 30-х годов русская дипломатия оказалась бессильной противодействовать английскому влиянию в Стамбуле, которое вскоре стало преобладающим. Этого не учитывали Маркс и Энгельс, писавшие, что Ункяр-Искелесийский договор привел к установлению на ряд лет русского господства в Турции, что она была спасена от расчленения только для того, чтобы целиком достаться России [1, т. 9, с. 202, 389, т. 11, с. 65—66, т. 22, с. 36].

Окруженный угодливыми советниками, Николай I, фактически единолично руководивший внешнеполитическими акциями, не терял уверенности, что дни «больного человека» сочтены. Это побуждало его при каждом подходящем случае заводить разговоры с австрийскими и английскими дипломатами о необходимости заключения предварительного

соглашения на случай распада Османской империи. Но при этом не выдвигался какой-то определенный принцип решения турецкой проблемы, не учитывались интересы самих балканских народов: царь был согласен и на раздел части Европейской Турции, если бы это удовлетворило партнеров, и на создание там самостоятельных национальных государств. Но главной всегда оставалась задача не допустить неблагоприятного для России решения судьбы Константинополя и проливов, например, их перехода во владение одной из западных держав. Однако какие-либо соглашения так и не были заключены — европейские кабинеты не собирались связывать себе руки предварительными обязательствами в отношении судьбы турецких владений.

Маркс и Энгельс разоблачали проекты раздела турецких владений, сведения о которых в 30—50-х годах просачивались в печать, однако, преувеличивали экспансионистские аппетиты Николая I, полагая, что он претендует на овладение Константинополем и всем Балканским полуостровом, а это, в свою очередь, явится лишь прелюдией к продвижению России в глубь Европы. На страницах их произведений фигурировали и никогда не существовавшие соглашения о разделе османских владений, например, о «тайном договоре» между Николаем I и Карлом X (1830), о согласованном австро-русском плане уничтожения и раздела Турецкой империи [1, т. 10, с. 65, т. 13, с. 629—632, т. 14, с. 514, т. 22, с. 35].

У Маркса и Энгельса, конечно, имелись собственные представления о существовании политической перестройки на Балканах — в результате предстоящей революции, без какого-либо вмешательства России и других держав, — хотя они не были достаточно определенными. Предполагалось, что там возникнет одно большое независимое христианское государство — «греческая империя или федеративная республика славянских государств» [1, т. 9, с. 35, 219]. Но такой принцип решения балканского вопроса — создание одного государства, — как показали дальнейшие события, был нереальным. И не только из-за вмешательства России и других держав, но и из-за серьезных разногласий между уже существовавшими балканскими государствами, их несовместимых территориальных претензий.

Тяжелое поражение России в Крымской войне 1853—1856 гг. вскрыло гнилость всего николаевского режима. Как и предвидели Маркс и Энгельс, страна шла к революции. Но произошла не та революция, о которой они мечтали. Благодаря революции сверху было, наконец, уничтожено крепостное право и осуществлены важные буржуазные преобразования. Последствия таких реформ еще в 1860 г. расценивались Марксом как неблагоприятные для интересов революции. То, что вопрос об освобождении крестьян при Александре II сильно продвинулся вперед, писал он, произошло «очевидно в силу развития экономических отношений, над которыми даже царь не властен. Кроме того, освобождение крепостных *в духе русского правительства* в сотни раз увеличило бы агрессивность России». Такое освобождение имеет целью «довести самодержавие до предела» путем уничтожения преград для царя в лице помещиков и самоуправляющихся общин. Поэтому Александр II видел в завоевательной войне «единственное средство отсрочить наступление революции внутри страны» [1, т. 14, с. 509—510].

В подобном ходе мыслей была своя логика: революционная ситуация после Крымской войны существовала в России, и для Маркса главным была ее реализация. Но если отвлечься от этой перспективы, оказавшейся неосуществленной, никто не может отрицать, что уничтожение крепостного права, каким бы путем оно не свершилось, было для России глубоко прогрессивным событием: кризис феодальной системы был преодолен, в результате реформ внутреннее положение государства улучшилось. Все это действительно способствовало (но лишь спустя десятилетие) активизации политики в отношении Турции и балканских народов. Говорить же об усилении («в сотни раз») агрессивности этой политики не приходится — было скорее обратное.

Стремясь восстановить утерянные позиции на Балканах, петербургский кабинет осторожно и осмотрительно поддерживал неуклонно нараставшее там национально-освободительное движение, ибо «политика успокоения», по мнению российского министра иностранных дел А. М. Горчакова, стала невозможной. Восточный вопрос, отношения с балканскими народами считались главными в общем комплексе внешнеполитических задач, но овладения Константинополем и проливами как непосредственной задачи не выдвигалось. Наиболее благоприятной для интересов России считалась перспектива основания в Юго-Восточной Европе ряда небольших национальных государств, которые могли бы стать союзниками России на международной арене. Путь к этому виделся в создании новых автономных областей, в первую очередь Болгарии, Боснии и Герцеговины. Такие цели были близки к программам национально-освободительных движений балканских народов, что казалось бы благоприятствовало их осуществлению. Но при этом Петербург пытался контролировать развитие национальных движений, чтобы не допустить обострения международной обстановки и, главное, воспрепятствовать росту влияния на Балканах революционного и демократического движения «в западном духе» [15, с. 152—161; 18, с. 52—67; 19, с. 26—28].

До середины 60-х годов, пока в России осуществлялись важные реформы, политика ее в отношении Турции и балканских народов была достаточно сдержанной, влияние среди балканских народов восстанавливалось лишь постепенно. Не учитывая этого, Энгельс в 1858 г. писал, что после окончания войны Россия «все же осталась в чистом выигрыше», ибо «положение „больного человека“ стало значительно хуже; христианское население Европейской Турции... более, чем когда-либо, стремится сбросить с себя турецкое иго и более, чем когда-либо, видит в России своего единственного защитника. Без сомнения, русские агенты причастны ко всем восстаниям и заговорам последнего времени в Боснии, Сербии, Черногории и на Крите...». Целью Крымской войны было установление русского протектората над христианскими подданными Порты, «а кто может утверждать, что в настоящее время Россия не осуществляет этот протекторат в большей степени, чем когда бы то ни было?» [1, т. 12, с. 637].

Продолжение западными державами после окончания Крымской войны политики *status quo* в отношении Османской империи действительно бросало православных подданных султана в объятия России. Но ей надо было еще залечить собственные раны, прежде чем активизировать внешнюю политику. Затеять новую войну на Востоке правительство Александра II в 50—60-х годах не могло и не стремилось, а потому не подстрекало балканских христиан к «восстаниям и заговорам», которые без русской поддержки неизбежно были бы подавлены. Во второй половине XIX в. в Петербурге уже хорошо представляли ответственность державы-покровительницы за призывы к антитурецким выступлениям: бросив восставших «на произвол судьбы», царь не только подорвал бы свой престиж на Балканах, но вызвал бы большое недовольство общественности в собственной стране.

В годы Восточного кризиса 1875—1878 гг. Маркс и Энгельс публиковали мало произведений, в которых затрагивались проблемы, касавшиеся Турции и балканских народов [1, т. 19, с. 124, 143—146]. Но об отношении к событиям, происходившим в этом регионе, к роли в них России позволяет судить их эпистолярное наследие. Эти материалы рассматривались югославским историком Е. Реджичем [27] и болгарским — И. Тодевым [3].

Как говорилось выше, Маркс и Энгельс нескрывая отрицательно относились к усилившемуся в это время национально-освободительному движению болгар, черногорцев, боснийцев и герцеговинцев, которых, как они полагали, поддерживала и подстрекала к восстаниям Россия. Их симпатии были на стороне «храбрых турок» как народа, сражавшегося против России. Энгельс, например, в 1876 г. корил английских журналистов за то, что они подняли шум из-за турецких зверств в Болгарии, оказывая тем самым «неоценимую услугу русским», и в то же время мол-

чат о «низостях черногорцев и герцеговинцев». Неудачи сербов в войне с Турцией вызывали у него радость [1, т. 34, с. 11, 13, 24, 178].

Такая позиция была следствием убеждения, что поражение России в войне с Османской империей ускорит взрыв, революцию, которая охватит Восток, а затем перекинется на Запад Европы. Русские выставили такие условия мира, что война продолжится, и это приведет их к поражению, полагал Энгельс в январе 1878 г. «А безуспешная война или новые неудачи безусловно вызовут революцию в Петербурге» [1, т. 34, с. 245—246]. Отвести угрозу революции царизм рассчитывает путем военных побед и прежде всего благодаря захвату Константинополя и проливов. Европейские правительства также страшатся революции и поэтому помогают России. Последняя, по заключению Маркса, не потерпела поражение только потому, что Англия и Австрия совершили предательство. Первая спасала сербов, когда они были разбиты, побудив Порту приостановить войну, а вторая помешала туркам расправиться с черногорцами. За кулисами русских военных успехов стоял и Бисмарк. К тому же турки не совершили вовремя революции в Константинополе [1, т. 34, с. 246—248].

Таким образом, в 70—80-е годы Маркс и Энгельс по-прежнему видели в России главный оплот политической реакции и милитаризма, хотя в действительности такой роли в международной жизни Европы она уже не играла. Советские историки, основываясь на документальном материале, доказывают, что в войне с Турцией правительство Александра II не выдвигало непосредственной задачи овладения Константинополем и проливами или каких-либо территориальных приобретений на Балканах. Целью войны провозглашалось освобождение Болгарии, предполагалось создание на месте европейских владений Турции нескольких независимых христианских государств [15, с. 215; 18, с. 337]. Но, конечно, при этом петербургский кабинет рассчитывал установить свое преобладающее влияние в этом регионе и меньше всего учитывал интересы самих балканских народов: вспомним, что в канун войны, в 1876 г., ради «благожелательного нейтралитета» Австро-Венгрии было заключено Рейхштадское соглашение о передаче ей Боснии и Герцеговины.

Победа России над Турцией привлекла внимание Маркса и Энгельса преимущественно в связи с изменением расстановки сил в борьбе великих держав вокруг Восточного вопроса и перспективой возникновения мировой войны. Позже Энгельс утверждал, что успех России, внешне громадный, в действительности был мнимым, ибо в результате войны образовалось два больших, угрожающих друг другу военных лагеря: Россия и Франция против Германии и Австро-Венгрии. Борьбась за Константинополь царизм мог теперь только «посредством мировой войны, в которой Англия будет решать исход дела», а именно этого русская дипломатия стремилась избежать в течение полутора лет. Он обратил также внимание на то, что Россия после 1878 г. теряла свои позиции среди освобожденных с ее помощью балканских народов и считал это закономерным. «Фраза об освобождении угнетенных христианских народов всемогущим царем отжила свой век», — писал он [1, т. 22, с. 43—46].

Действительно, война 1877—1878 гг. как бы завершила освободительную миссию России на Балканах, а первая мировая война стала последним этапом в истории Восточного вопроса, который после Октябрьской революции кончил свое существование.

Итак, в течение немногим более столетия, прошедшего со времени окончания русско-турецкой войны 1768—1774 гг. до окончания войны 1877—1878 гг., Россия достигла немалых успехов в противоборстве с Османской империей, частично ее разрушив. На Балканах возникло пять формально или фактически (Болгария) независимых государств, созданных при ее военной или дипломатической поддержке. Такие результаты были благотворными для народов Юго-Восточной Европы, способствовали их историческому прогрессу. Но экономически отсталая самодержавная Россия так и не смогла закрепить своего политического влияния в новых государствах. Сделав громадные территориальные приобретения на Кав-

казе, овладев Северным и Восточным Причерноморьем, устьем Дуная, царизм не осуществил заветной мечты — не решил в свою пользу вопрос о проливах из Черного в Средиземное море.

Российская политика в Восточном вопросе всегда зависела от общего характера самодержавного режима в конкретные периоды. В ней сочетались успехи и проигрыши, приобретения и потери. В этой политике было немало просчетов и ошибок, она велась иногда некорректными методами. Все это наносило вред и интересам балканских народов, и интересам самой России.

Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса — нередко меткие и верные — помогают избежать идеализации курса царизма в отношении балканских народов, преуменьшения его корыстных целей, приукрашивания русско-балканских связей. Но их концепция данных проблем не может служить ключом к пониманию характера, целей и результатов российской политики в Восточном вопросе. Ведь эти проблемы Маркс и Энгельс рассматривали как заинтересованные современники происходивших событий и, главное, исходя из своих политических задач: борьбы за сплочение революционных и демократических сил, за европейскую революцию. К тому же источники информации, на которой они строили свои заключения, были недостаточными и часто очень тенденциозными.

К сожалению, расхождения с реальными историческими фактами, неточности и противоречия, встречающиеся в произведениях и письмах Маркса и Энгельса в отношении внешней политики России, у нас было принято замалчивать или сглаживать. Среди большого количества книг и статей, посвященных теме «Маркс и Энгельс о России», редко можно встретить работы, затрагивающие эти проблемы. Их обходили или декларативно обвиняли зарубежных авторов в изображении основоположников марксизма русофобами и националистами (см., например, [11, с. 34—47]).

От такого подхода к наследию К. Маркса и Ф. Энгельса настало время отказаться. Их концепцию внешней политики царизма, и в частности политики в Восточном вопросе, необходимо рассматривать как одно из направлений революционной западноевропейской мысли. Ее необходимо изучать в контексте эпохи, в которую они жили и творили, с учетом источников, которые имелись в их распоряжении, политических расчетов, которые ими преследовались.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд.
2. Маркс К. Разоблачение секретной дипломатии XVIII в.— Вопросы истории, 1989.
3. Тодев И. Источният въпрос във възгледите на Маркс и Енгелс.— Исторически преглед, 1989, № 4.
4. Гефтер М. Россия и Маркс.— Коммунист, 1988, № 18, с. 98.
5. Попов А. Л. Внешняя политика самодержавия в XIX в. в «кривом зеркале» М. Н. Покровского.— В кн.: Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Ч. 2. М.— Л., 1940.
6. Сталин И. В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма».— Большевик, 1941, № 9.
7. История дипломатии. Т. 2. М., 1963.
8. Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969.
9. Волк С. С., Джегискевич А. Р. Лженаучные теории реакционной историографии истории СССР.— Вопросы истории, 1964, № 1.
10. Карякин Ю., Плимак Е. Мистер Кон исследует «русский дух». Л., 1967.
11. Колюшова Р. П. Карл Маркс и революционная Россия. Л., 1985.
12. Lederer I. J. Russia and the Balkans.— In: Russian Foreign Policy. Essays in Historical Perspective. New Haven and London, 1967.
13. Коммунист, 1962, № 11.
14. Итоги и задачи изучения внешней политики России. М., 1981; Вяземская Е. К., Данченко С. И. Юго-Восточная Европа и Россия. Конец XVIII в.— 1918 г. Советская историография. М., 1990.
15. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII — начало XX в. М., 1978.
16. Международные отношения на Балканах. 1815—1830. М., 1983.
17. Международные отношения на Балканах. 1830—1856. М., 1990.

18. Международные отношения на Балканах. 1856—1878. М., 1986.
19. Формирование национальных независимых государств на Балканах. Конец XVIII — 70-е годы XIX в. М., 1986.
20. *Ари Г. Л.* Этеристское движение в России. М., 1970.
21. *Миллер А. Ф.* Мустафа-паша Байрактар. М.—Л., 1947.
22. *Сироткин В. Г.* Дуэль двух дипломатий. М., 1966.
23. *Достян И. С.* Россия и балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX в. М., 1972.
24. *Фадеев А. В.* Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX в. М., 1958.
25. *Виноградов В. Н.* Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. М., 1985.
26. *Никитин С. А.* Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50—70-е годы XIX в. М., 1970.
27. *Redžić E.* Marks i Engels o bordi i težnjama Južnih Slavena za nacionalnim oslobođenjem.— In: Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i istočnoj krizi 1875—1878 godine. T. III, Sarajevo. 1977.



КУЗНЕЧЕВСКИЙ В. Д.

КАКАЯ КОНЦЕПЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНА В ЮГОСЛАВИИ? (РЕКВИЕМ ПО БОРИСУ КИДРИЧУ)

«57...Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
58 И не совершил там многих чудес по неверию их».
Евангелие от Матфея. Гл. 13.

Представители советского обществоведения, начиная с 1950 г., много писали о югославском самоуправлении, используя практически любую возможность для критических ударов по теории и практике новой Югославии. Терминология этой критики нередко была ниже уровня «джентельменского набора». Лишь после смерти Сталина голословные идеологические и политические обвинения стали постепенно (хотя и далеко не сразу) уступать место научным аргументам. Однако по-настоящему обществоведы СССР отошли от преимущественно критического подхода к оценке югославского опыта лишь после того, как наша собственная социально-экономическая и политическая система оказалась в глубоком и очевидном для всех кризисе. На короткое время в среде ученых и публицистов в СССР вспыхнул обостренный интерес к изучению основ, сущности, контуров югославской социалистической системы. Но столь же быстро изучающие пришли к пессимистичным выводам. Так, собственный корреспондент газеты «Известия» Л. Колосов заявил, что «югославская модель социализма» себя в значительной степени скомпрометировала [1]. Столь же категоричен вывод доктора философии Ф. Бурлацкого: «Возьмем Югославию с ее опытом создания рабочих советов и самоуправления. Почему же в Югославии и этот самоуправляемый, децентрализованный социализм сейчас зашел в тупик и столкнулся с очень сложными проблемами? Я думаю, что ... эта новая форма себя исчерпала» [2].

Фактически эти выводы объявляют саму идею самоуправления в современных условиях тупиковым направлением общественного развития. Думается, к таким выводам можно прийти только от незнания предмета, во всяком случае, его истории. Сиюминутное впечатление, эмоциональное восприятие закрыли путь к оценке глубокого и богатого явления исторического масштаба. Жаль, что такие оценки получили у нас распространение и снизили интерес советской общественности к изучению югославского опыта. Как раз сейчас такое изучение могло бы многое дать нашему обществоведению.

Кузнецовский Владимир Дмитриевич — канд. филос. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ АН СССР

На мой взгляд, если и высказывать упреки в адрес «югославской модели социализма», так скорее за то, что в ней не были последовательно, на практике осуществлены первоначально заложенные идеи. Бесспорно, югославское самоуправление сегодня переживает глубокий кризис системного характера. Однако внимательное изучение истории самоуправления позволяет прийти к иным (в сравнении с вышеприведенными) выводам, а именно: в самой идее самоуправления был заложен огромный жизнеспособный потенциал. Но исторические обстоятельства сложились так, что этот потенциал не смог быть реализован в полном объеме.

Идея самоуправления родилась не в XX в., и не только марксисты разрабатывали ее (см. первую, и пока единственную, крупную работу на эту тему [3]). Заслужой руководителей новой Югославии является то, что они первыми предприняли попытку осуществить идею самоуправления на практике в масштабах целой страны.

Первоначально эта историческая инициатива была выдвинута интеллектом и волей людей, составляющих довольно малочисленную группу в высшем звене руководства КПЮ: в нее входили Б. Кидрич, И. Тито, Э. Кардель. На некоторой дистанции от них стоит многочисленная группа политических деятелей, которые разрабатывали в основном отдельные аспекты этой идеи и проводили их в практику политических и экономических отношений: В. Бакарич, В. Влахович, С. Вукманович-Темпо, Л. Колишевики, М. Пияде и др. Югославская историография неоднократно отмечала, что ученые к разработке идеи самоуправления подключились много позже [4, т. 2, с. 35; 5, с. 130].

В югославской литературе, однако, к генезису идеи самоуправления отношение неоднозначное. Существуют по меньшей мере две точки зрения на этот счет. Первая исходит из того, что идея самоуправления органически шла из толщ народа, его традиций, что идея диверсификации политической и экономической власти фактически проявилась еще в ходе национально-освободительной войны [4, т. 2, с. 33—34, 317; 6; 7]. Своими истоками эта позиция восходит к Э. Карделю, который, хотя иногда и с оговорками, но все же до конца жизни придерживался мнения, что самоуправление в Югославии зародилось еще во время народно-освободительной войны и революции, когда общественную и политическую власть на освобожденной территории «взяли на себя народно-освободительные комитеты как органы массового движения, а фабрики и мастерские брали в свои руки рабочие» [8, с. 13].

К концу 70-х годов в югославской литературе все чаще стала встречаться другая точка зрения, согласно которой идея самоуправления родилась в среде высшего руководства КПЮ в период обострения конфликта между руководством ВКП(б) и КПЮ. Авторы ее считают, что идея самоуправления была сформулирована как противовес формам организации политической и экономической жизни в СССР. Наиболее полно эта точка зрения представлена в работах Д. Биланджича [5, с. 101—108; 9, с. 164—168; 10, с. 168—174]¹.

До недавнего времени вопрос о приоритете выдвижения идеи самоуправления в Югославии решался в югославской литературе однозначно: авторами назывались И. Тито и Э. Кардель. Так, Д. Биланджич в двух своих объемных монографиях по истории новой Югославии, изданных в 1973 и 1978 гг., среди первых важнейших провозвестников новой идейно-политической концепции называет Э. Карделя, ссылаясь на его доклад

¹ Представляется, что доля истины есть и в той, и в другой позиции. Но, конечно, то, что выдвижение идеи самоуправления в качестве практической задачи совпало по времени с политическим конфликтом между руководствами ВКП(б) и КПЮ, имело следствием внесение субъективных политических моментов в оценку теории и практики самоуправления в послевоенное время. Неоправданное резко отрицательное отношение со стороны политического руководства СССР к этому феномену закрыло путь его научным разработкам (фактически до 1985 г.). Исключением из правила являются, пожалуй, только монографии Б. А. Страшуна и Ю. А. Тихомирова [11; 12]. Возможность вести такие разработки открыл лишь XXVII съезд КПСС. Первой крупной работой стало исследование теоретических основ идеи самоуправления, выполненное А. П. Бутенко [3].

на заседании Народной Скупщины ФНРЮ по поводу принятия Закона о народных комитетах 28 мая 1949 г. В докладе действительно указывалось на необходимость развития самоуправления, однако оно трактовалось как привлечение народных масс «к работе государственного механизма — от низших органов до высших...». «Социалистическая демократия, — говорил Кардель, — какие бы формы она поначалу ни принимала, может развиваться только в одном направлении — все большего соединения государственного аппарата с народными массами» [13, s. 42, 43]².

Д. Биланджич считает, что в этих положениях уже содержится «набросок идеи об общественном самоуправлении», однако, первенство все же отдает И. Тито: «Но еще до Эдварда Карделя Иосип Броз Тито 26 ноября 1948 г. на Втором съезде КП Хорватии в Загребе подчеркнул мысль, что местное самоуправление народа является движущей силой развития всех творческих сил в нашем народе» [9, s. 104—106; 10, s. 166—167; 14, s. 3]³.

Выводы ученых получили и официальное закрепление. В отчете ЦК на XII съезде СКЮ (1982) о деятельности Союза коммунистов между XI и XII съездами, открывающемся разделом под заголовком «Историческое дело Тито и Карделя — непреходящая основа и путеводная звезда развития социалистической революции», говорится, что Тито «положил начало процессу самоуправления», а «соратник Тито Эдвард Кардель», следуя стратегии югославской практики самоуправления, автором которой был Тито, «внес решающий вклад в укрепление курса на социалистическое самоуправление», «идейно-теоретически разработал, обобщил и осветил пути югославской социалистической революции и строительства», «подробно объяснил сущность ... социалистического самоуправления» [15].

Привлекает, однако, внимание то обстоятельство, что ни в одной антологии по проблемам самоуправления, изданной в Югославии, не приведены упомянутые выше выступления И. Тито и Э. Карделя. Все антологии и сборники текстов по этой тематике, как правило, открываются выступлением Тито в Народной Скупщине ФНРЮ 26 июня 1950 г. по поводу принятия Основного закона об управлении государственными предприятиями и высшими хозяйственными объединениями со стороны трудовых коллективов. И это не случайно, ибо на II съезде КП Хорватии Тито основное внимание уделил не «развитию самоинициативы» на местном уровне (как об этом пишут Д. Биланджич и другие), а, наоборот, подчинению местной инициативы интересам общества. Вот та цитата в полном объеме, которую Биланджич и другие югославские историки предпочитают давать в пересказе: «Мы, следовательно, не можем идти по линии расширения капитального строительства, но должны идти в глубину в этом плане, создавая прежде всего то, что сейчас является наиболее важным. Что это значит? А это значит, что наши трудящиеся, и в первую очередь руководители-коммунисты и все другие уважаемые руководители нашей страны, должны знать, что существенным и основным является целостность, то, что есть общее, и что локальный интерес представляет собой всего лишь часть этой целостности. Недооценка общих интересов, выпячивание локальных вносит беспорядок в наш общий план. Поэтому необходимо придавать больше смысла нашей общности, нашей цельности. Поэтому необходимо, чтобы люди не смотрели на вещи узко, замыкаясь в своих локальных рамках, что часто происходит. Я согласен с тем, что решение вопросов в локальных масштабах помогает развитию самоинициативы. Это хорошо, это позитивная вещь. Это, в общем-то, в известном смысле представляет собой движущую силу для развития всех творческих сил в нашем народе, но никогда не следует забы-

² В таком виде данная идея не имеет ничего общего с тем, что позже получило название «югославской концепции самоуправленческого социализма», ибо в этой последней государство и его аппарат противопоставляются органам самоуправления. Ни о каком участии в работе госаппарата субъектов самоуправления, согласно этой концепции, не может идти и речи. Знакомство с полным текстом названного выступления Э. Карделя [13, s. 1—84] только укрепляет в этом выводе.

³ Биланджич не случайно не приводит цитат из упомянутого выступления Тито — в нем ни слова не говорится о самоуправлении.

вать то, что является самым важным, что представляет собой целостность, что представляет собой интерес общества, а это — фабрики, заводы, доменные печи» [16].

В духе подчинения местных интересов общим выдержана вся речь Тито. Здесь еще нет ничего не только о самоуправлении, но даже и о децентрализации. Подтверждение этому выводу можно найти и у современников событий. Входящий в узкий круг руководства тех лет С. Вукманович-Темпо пишет в мемуарах: «В середине 1949 года мы предприняли первые шаги в направлении децентрализации государственного управления. Тогда еще не вызрела мысль о передаче трудовым коллективам функций по управлению предприятиями. Вместо этого мы стремились к тому, чтобы власть приблизить к массам...» [17, т. 2, с. 140].

Однако и в этих словах Вукмановича-Темпо еще не вся картина того сложнейшего судьбоносного исторического отрезка. 23 декабря 1949 г. член Политбюро ЦК КПЮ, председатель Плановой комиссии Б. Кидрич и председатель югославских профсоюзов Д. Салай направили за своими подписями республиканским комитетам профсоюзов и 215 предприятиям наставление о создании и деятельности рабочих советов государственных и хозяйственных предприятий. В этом документе, состоявшем из трех разделов (образование и задачи рабочих советов; выборы рабочих советов; деятельность рабочих советов), вопросы самоуправления на предприятиях были продуманы настолько глубоко и изложены таким ясным языком, который скорее напоминал математические формулы, нежели политико-экономический документ, вышедший из стен канцелярии. В организации рабочих советов в Югославии и до сегодняшнего дня мало что изменилось по сравнению с данными рекомендациями. Это было поистине выдающееся произведение, а такие вещи не готовятся в течение месяцев, над ними работают годами. Причем, как правило, идея такого феномена, каким был этот небольшой документ [8, с. 53—55], вынашивается в голове и сердце одного человека, а не коллектива. Такой человек в руководстве КПЮ был.

Как уже упоминалось выше, наполнение понятия «самоуправление», появившегося в выступлениях Э. Карделя летом 1949 г., имело мало общего с тем, что позже получило название «югославской концепции самоуправления», ибо тогда Кардель понимал под этим «все большее соединение государственного аппарата с народными массами» [13, с. 43]. На позициях этой общей идеи демократизации, если судить по опубликованным выступлениям и мемуарам современников, вплоть до конца 1949 г. стояло почти все руководство КПЮ. Все, кроме члена Политбюро ЦК КПЮ, председателя Плановой комиссии Б. Кидрича.

Кидрич уже в июле 1948 г. выступил с идеей децентрализации управления экономикой в докладе «О строительстве социалистической экономики ФНРЮ» на V съезде КПЮ. Это произошло спустя три месяца после известного письма ЦК ВКП(б) в адрес руководства КПЮ и месяц спустя после соответствующей резолюции Информбюро.

Летом 1948 г. руководство КПЮ еще сохраняло надежду на то, что конфликт с ЦК ВКП(б) может быть улажен путем разъяснения позиций, и потому на съезде сознательно подчеркивалось единство югославских коммунистов с СССР, ВКП(б), воздавались почести лично Сталину. Эти дежурные моменты присутствовали и в докладе Кидрича. Однако именно он наиболее ярко и бескомпромиссно сформулировал новые подходы к организации социалистической экономики в переходный период. По сути дела, Кидрич в этом докладе осуществил научный анализ путей и форм строительства нового общества в изменившихся исторических условиях, когда социализм вышел за рамки одной страны. Сегодня можно сказать, что в своем анализе и выводах он на десятки лет опередил современный ему уровень теории социализма в этой области.

Подчеркнув, что социализм в Югославии строится на базе «марксистско-ленинской науки», что «гегемоном югославской народной революции является рабочий класс Югославии во главе с Коммунистической партией Югославии», что «общие закономерности строительства социалистической

экономики, открытые и разработанные марксизмом-ленинизмом, гениальной наукой Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, так же действительны для Югославии, как они действительны для Советского Союза», что для прогресса истории большую роль играет «рост сил и влияния мирового лагеря социализма во главе с Советским Союзом», докладчик обратил внимание на принципиальное изменение международной ситуации после второй мировой войны. СССР уже не единственная в мире страна социализма. И в этих условиях формы строительства социалистической экономики в Югославии не только могут, но и «должны быть специфичны». Опираясь на высказывание Сталина о том, что плохи те марксисты, которые строят свою деятельность не на основе опыта, практики, а на цитатах Маркса, Кидрич заключил: «В соответствии с этим положением конкретные пути и конкретные формы, с помощью которых мы начали строить социалистическую экономику в нашей стране, не только не могли, но и не должны были быть тождественны путям и формам Советской России после Октябрьской революции». И далее: «...Строительство социалистической экономики в ФНРЮ не только может по содержанию своему и по общему направлению быть другим, нежели это было в Советском Союзе, но не может не быть другим», ибо «конкретные пути и формы у нас не только могут, но должны определяться исходя как из наших специфических внутренних условий, так и из новых общих условий».

Кидрич подробно перечислил внутренние условия социалистического строительства в Югославии, которые существенно отличаются от таковых в СССР. Среди главных он назвал конфискацию собственности предателей, а не национализацию; союз с середняком и опору на него, а не опору на бедняка и нейтрализацию середняка, как это было в СССР. Гражданской войны после победы социалистической революции в Югославии не было, так как эти вопросы решались в ходе войны с оккупантами. Кардинально иной была и внешняя обстановка, так как победа над фашизмом обеспечила непосредственную помощь СССР и беспрепятственное включение в международные отношения. Советская Россия всего этого не имела, а потому и методы строительства социализма в Югославии должны отличаться от советских, со всей ясностью подчеркнул председатель Плановой комиссии [18, с. 403—407].

Отталкиваясь от развернутой им аргументации, Кидрич выдвинул тезис, который сохранил свою актуальность и в последнее десятилетие XX в. При сохранении планового начала в развитии экономики в целом, основной акцент в рамках общего государственного плана следует делать, как он выразился, «на детальной организации работы предприятий», ибо, если отдать абсолютное преимущество общегосударственному решению организационных вопросов, то это приведет к тому, что югославское общество перестанет прогрессировать в своем развитии, перейдет в стадию стагнации и даже, рано или поздно, к регрессу. Противопоставив «бюрократическое понимание организации» экономики, т. е. диктат на основе государственного плана, «инициативе» предприятий и высказавшись за расширение их самостоятельности, Кидрич особо подчеркнул, что такая постановка вопроса не противоречит марксизму-ленинизму, и предпринял попытку доказать это путем анализа опыта СССР и ссылок на работы Ленина и Сталина [18, с. 408—411, 467—468].

Таким образом, впервые был сформулирован вывод о том, что социализм должен строиться в Югославии, как и в любой другой стране, с помощью всего социалистического лагеря, но «собственными силами» [18, с. 453—454].

В январе 1949 г. состоялся II Пленум ЦК КПЮ, на котором все ведущие деятели партии выступили с докладами по злободневным вопросам: Э. Кардель — о политике КПЮ на селе, А. Ранкович — об организационных вопросах, М. Джилас — о вопросах агитации и пропаганды и т. д. Название доклада Б. Кидрича мало о чем говорило: «Злободневные вопросы нашей хозяйственной политики» (затем в публикации слово «злободневные» и вовсе было заменено на «текущие» [19]). Однако именно

здесь председатель Плановой комиссии развил свои взгляды на роль государственного планирования и товарно-денежных отношений в социалистическом обществе в новых условиях.

Ситуация вокруг Югославии и КПО в международном плане в этот момент была уже крайне напряженной. Давление со стороны руководства ВКП(б) и Информбюро, переходящее в прямые угрозы, достигало кульминации. В таких условиях от руководителя экономического ведомства было бы логично ожидать призывов и предложений в русле «завинчивания гаек» в экономике⁴. Кидрич, однако, выказал подлинную политическую мудрость и призывал к иному. «...Время требует от нас, — сказал он, — оставить известные чрезвычайные хозяйственные меры и методы работы, которые были неизбежны сразу после войны и в первые годы строительства социализма... и перейти к более нормальному развитию». Под таковым Кидрич понимал «существенное улучшение действительного жизненного уровня» [19, с. 81].

Очень резкой критике подверг он тех руководителей (признав, что они, к сожалению, составляют абсолютное большинство), которые «альфой и омегой планового хозяйства, вершиной социалистического планового искусства» считают так называемое «дистрибутивное планирование», т. е. жестко распределительное. «Неизлечимой детской болезнью» назвал он такое мышление. «Товарищи, которые думают, что дистрибутивными планами можно решить все, забывают, что источником народного дохода, общественного богатства, его всестороннего ассортимента является производство, а не распределение». Планирование, объяснял Кидрич, можно вообще довести до полного абсурда, если не иметь в виду «непосредственного воздействия потребления, то есть рынка, на непосредственное производство» [19, с. 82—83]. Социализм как первая стадия коммунизма, подчеркивал он, имеет ту особенность, что распределение по труду в нем имеет форму распределения через деньги. А поскольку это так, то «в процессе строительства социализма практически не существует возможности удовлетворения всех человеческих потребностей без какого бы то ни было уважения неумолимых экономических законов, среди которых находится и закон равновесия денежных и товарных фондов». Далее докладчик подробно объяснил, что его выступление направлено не против «дистрибутивного планирования» вообще, а против того, чтобы план носил лишь распределительный характер. Социализм — это такое общество, пояснял он, где план должен учитывать существование таких экономических категорий, как «товар и деньги», «спрос и предложение», действие рынка. Плановая социалистическая экономика «должна овладевать спросом и предложением и сознательно пользоваться ими как одним из инструментов планового распределения». Более того, нельзя допускать такого состояния в управлении хозяйством, чтобы покупательная способность населения росла «анархично и помимо плана», чтобы она не соответствовала товарному ассортименту. Допустить это означало бы «нанести ущерб жизненному уровню населения». Сущность социалистического планирования заключается в том, что «сердцевина этой проблемы содержится не в дистрибутивных планах, а в правильном планировании платежеспособного спроса, его плановом балансе с товарными фондами и в строгом поддержании плановой дисциплины, но не только с точки зрения производства, потребления материалов и т. д., а и с точки зрения планового баланса платежеспособного спроса и товарных фондов» [19, с. 82—85].

Это программное выступление не было экспромтом. В конце 1948 г. Кидрич подготовил, а в первом номере «Коммуниста» за 1949 г. опубликовал текст под названием «Характер товарно-денежных отношений в

⁴ Хорошо известно, что когда в конце 20-х — 30-е годы менее, на мой взгляд, острая ситуация сложилась вокруг СССР, то тогдашнее руководство ВКП(б) воспользовалось этим для того, чтобы крайне ужесточить все отношения в экономике, отказаться от курса на повышение жизненного уровня населения в пользу высоких темпов экономического роста группы «А», и потом продлило жизнь этой модели управления в экономике на долгие десятилетия.

ФНРЮ» [20, с. 36—56], где обосновал следующую мысль: «План становится основным законом общественного развития, естественные законы процесса труда становятся во все большей степени основными законами планирования» [20, с. 56]. А под «естественными законами процесса труда» в социалистическом обществе, точнее, при его строительстве, Кидрич имел в виду экономические законы, и среди них закон стоимости в первую очередь [20, с. 45], ибо «оценка общественного труда и вознаграждение за него в социалистических производственных отношениях возможны единственно через стоимостной расчет общественного труда в его денежной форме» [20, с. 52].

В ноябре 1950 г. выходит в свет работа, которая подытожила размышления Б. Кидрича о преобразовании социалистической экономической и общественной системы. Это были 20-страничные «Тезисы об экономике переходного периода в нашей стране», которые через 22 года после их выхода в свет и без малого 20 лет после смерти Кидрича югославская печать назвала «гениальным эскизом, пролегоменами и аутентичным теоретическим обоснованием новой оригинальной экономической системы в процессе ее становления» [21]. В «Тезисах» Кидрич высказал мысль о том, что «государственно-бюрократический социализм» должен представлять собой краткий шаг на пути социалистического строительства, так как эта форма социализма «скрывает в себе ряд крупных опасностей для дальнейшей судьбы революции и социализма». В «Тезисах» были фактически сформулированы и почти афористичным языком выражены основы теории «преобразования государственного социализма в свободную ассоциацию непосредственных производителей» [22; 23, s. 127—141, 156—174, 265—312]⁵.

К критике «государственного социализма» Б. Кидричем в 1948—1950 гг. ни один из югославских ученых вплоть до сегодняшнего дня ничего существенно нового добавить не смог.

Несомненной заслугой Б. Кидрича в теоретическом плане является выдвинутая им и технически разработанная идея о том, что децентрализация в экономике должна иметь целью самостоятельность предприятий (именно предприятий, а не каких-либо других первичных экономических единиц) при сохранении за государственными органами общей направляющей линии. Он сформулировал тезис об органическом сочетании самоуправления в низшем и среднем звеньях экономики с деятельностью государства на макроуровне. Эту идею Кидрич углубил при проработке проблемы «план — рынок». Государственное планирование понималось им как достижение сбалансированности основных народнохозяйственных пропорций на основе показателей деятельности рынка.

Кое-что Кидрич успел сделать и практически, начав реализацию своих идей в Наставлении о создании и деятельности рабочих советов (23 декабря 1949 г.), в Основном законе об управлении государственными хозяйственными предприятиями и высшими хозяйственными объединениями

⁵ В вышедшем в 1985 г. полном собрании сочинений Б. Кидрича редколлегия издания в примечании к его работе «О некоторых теоретических вопросах переходного периода» отмечает, что автор никогда не склонялся к тому, чтобы идентифицировать государственную собственность в Югославии с неким образцом общественной собственности как таковой. И в процессе разработки первого пятилетнего плана его мнение о том, что государственная собственность представляет собой конституционную основу власти бюрократии над рабочим классом, только окрепло. «Изменение содержания теоретического понятия государственной собственности у Кидрича, следовательно, не было вызвано идеолого-политическим столкновением с Коминформом, а имело причиной непосредственное эмпирическое изучение, на основе которого сначала была отброшена концепция „государственно-капиталистической“, а затем и классической (т. е. советской) модели государственного социализма» [23, s. 127]. Как мне представляется, Кидрич действительно шел к своим выводам в общем-то естественным путем, о чем свидетельствуют не только тексты, в том числе и черновики, опубликованные в пятом и шестом томах указанного полного собрания сочинений, но и данные о том, что еще в 1947 г. Сталин высказал глубокое подозрение к взглядам Кидрича при встрече с ним именно из-за его трактовки роли товарно-денежных отношений при социализме [21]. Несомненно, однако, и то, что конфликт 1948 г. был сильным толчком к размышлениям Кидрича в означенном выше плане. В 1947 г. он писал еще в классическом ключе социалистической теории.

со стороны трудовых коллективов (июнь 1950 г.), в Конституционном Законе об основах общественного и политического устройства ФНРЮ и союзных органах власти (13 января 1953 г.) [8, s. 53—55, 57—64, 79—80].

О том, что именно Б. Кидричу принадлежит обоснование идеи самоуправления в экономике, свидетельствует С. Вукманович-Темпо. Кидрич, пишет он, разработал и предложил ЦК КПЮ систему управления, при которой трудовые коллективы сами бы принимали решения об определении доли прибыли, идущей, во-первых, на накопление, и, во-вторых, на формирование заработка членов коллектива предприятия. «Все мы поддерживали его положения,— вспоминает Вукманович-Темпо,— и на этом дискуссия о новой хозяйственной системе была практически завершена. Осталось только разработать необходимые условия, которые помогли бы провести ее в жизнь» [17, t. 2, s. 153, 154, 155—157].

Осенью 1952 г. Б. Кидрич тяжело заболел, а в апреле 1953 г. скончался. И. Тито, внимательно наблюдавший за поисками новых путей в экономике и всей общественной жизни, за дискуссиями, которые велись в руководстве КПЮ по этому поводу, очень быстро оценил значимость новой идеи. 26 июня 1950 г. он уже говорил в Народной Скупщине ФНРЮ о политическом значении создания рабочих советов на предприятиях [8, s. 65—72], а в ноябре 1952 г. на VI съезде КПЮ утвердил курс партии на передачу управления предприятиям «в руки рабочих» [8, s. 73—76], что и было закреплено в резолюции съезда [24].

Во время болезни Б. Кидрича роль главного теоретика югославской концепции самоуправления переходит к Э. Карделю, который позже стал называться «ведущим теоретиком» «общей теории самоуправления» [10, s. 169, 297; 25]. Первым серьезным выступлением Карделя по этой проблеме следует считать его доклад о Конституционном Законе 1953 г. на заседании Народной Скупщины ФНРЮ 12 января 1953 г. [8, s. 81—88]⁶. Затем последовал доклад «О некоторых проблемах социалистического общественного управления» от 10 ноября 1953 г. [8, s. 164—173] и т. д. Однако эти выступления выявили одну весьма примечательную особенность: взгляды Карделя на развитие самоуправления довольно заметно отличались от взглядов Кидрича. С течением времени эти различия все более набирали силу, во все большей степени находили воплощение в официальной концепции самоуправления.

Различия эти, кратко, сводились к следующему. Кидрич исходил из того, что самоуправление в его непосредственной форме следует развивать на местном (локальном) уровне, уровне предприятий, развитие же его по вертикали он видел в органическом сочетании с деятельностью центральных органов, включая и плановые, но без их директивных функций. Э. Кардель выступал за неограниченное распространение принципа самоуправления как по вертикали, так и по горизонтали, фактически сформулировал тезис о противопоставлении государства самоуправлению, признавая на словах нужность развития товарно-денежных отношений в экономике, на деле целым рядом выдвинутых и разработанных мероприятий и мер, закрепленных в конституциях и законах, существенно ограничил действие закона стоимости. Словом, это была сильно политизированная концепция социалистического самоуправленческого общества с тщательным фиксированием деталей организации, предписываемых сверху для всех уровней общественного развития. Именно эта концепция и осуществлялась в Югославии на практике.

Итак, подлинным инициатором идеи самоуправления в югославском варианте, а точнее — в варианте включения ее в современный исторический контекст в условиях социалистического преобразования общества, был Б. Кидрич. Следует, однако, тут же подчеркнуть (а не просто отметить), что в практико-политическом плане соавтором этой идеи являлся И. Тито, который не только сумел сразу и по достоинству оценить всю глубину и масштабность высказанных Кидричем мыслей, но сделать гораздо

⁶ Во всяком случае, так считал сам Э. Кардель, выстраивая хронологию своих выступлений на данную тему в книге «Самоуправление в Югославии» [8].

большее, нежели просто поддержать их: Тито придал этим мыслям программный характер и сформулировал на их основе политическую линию. Сделать это было очень непросто. Ведь в 40-е годы все югославское руководство еще находилось под гипнозом сталинских представлений о принципах организации социалистического общества. И даже Кидрич в 1947 г. считал, что «в югославской экономической системе существует только одно противоречие — между государственным и частным сектором» [26, № 2—3, с. 85]. Чтобы от такой позиции придти к идее самоуправления, югославским коммунистам потребовалось преодолеть самих себя. Противоречия возникали в самой жизни, они проходили через сердца и умы всех, от простого труженика до политического руководителя высшего ранга.

К слову сказать, идущие из тех лет противоречия дают о себе знать и сегодня. Это хорошо видно, когда читаешь югославскую историческую литературу. По крайней мере, один сюжет в ней не может не привлекать внимания. При описании генезиса идеи самоуправления историки пальму первенства, как уже отмечалось выше, отдают Тито и Карделю (я уже не говорю об официальной партийной литературе и партийных документах), а когда начинают анализировать саму идею, то вынуждены обращаться к текстам Кидрича. Так, Д. Биланджич в монографии «Идеи и практика общественного развития Югославии, 1945—1973» творцами этого исторического явления называет Тито и Карделя, лишь мимоходом упоминая, что «идентичную мысль находим и у Б. Кидрича» [9, с. 110]. Однако при раскрытии теоретического содержания идеи югославского самоуправления цитированию и анализу текстов Тито и Карделя он отводит едва шесть страниц, а анализу работ Кидрича — 31 страницу [9, с. 104—135]. Спустя пять лет Биланджич повторил эту позицию [10, с. 168—174, 181—188].

Казалось бы, какая, в конце концов, разница — кто сказал первое слово о введении самоуправления в Югославии, кто разработал теоретическую базу этого феномена?

Дело, действительно, не в том, *кто* первым сказал, а в том, *что* сказал. При знакомстве с шестым томом собрания сочинений Кидрича, куда входят не только его опубликованные работы, но и наброски служебных документов, черновики публикаций, и со многими томами сочинений Карделя, не можешь избавиться от мысли, что останься Кидрич жить и действовать — самоуправление в Югославии могло в своем развитии пойти по совсем иному пути. Более того, можно высказать предположение, что югославская общественно-экономическая система могла и не оказаться в тупике, к которому она пришла сегодня, развивайся она по тому пути и по тем параметрам, которые пытался внедрить Кидрич. Сегодняшняя теоретическая мысль Югославии в поисках новой концепции самоуправления, социализма фактически возвращается к сути идей, высказанных Кидричем в 1948—1950 гг.

Нельзя не заметить, что и Тито, когда впервые заговорил о самоуправлении, тоже локализовал действие этого феномена, т. е. разделил точку зрения Кидрича. Однако публично Тито никогда этого не подчеркивал. А вот Карделя он признавал теоретиком партии гласно. Уже в январе 1954 г. на Третьем (чрезвычайном) Пленуме ЦК СКЮ, посвященном персональному делу М. Джиласа, Тито, дав резкую политическую оценку деятельности Джиласа, в том, что касается теории, оставил поле для Карделя: «...Я не буду здесь говорить о различных теоретических ошибках (М. Джиласа — В. К.), пусть об этом говорит товарищ Кардель... Это нам гораздо лучше объяснит товарищ Кардель...» [27]. Кардель к тому времени стал единственным теоретиком, которому Тито безгранично доверял и который оказывал на него наибольшее влияние.

Иными словами, развитие югославской концепции самоуправления не было однолинейным. Первоначальные, краеугольные камни этой теории, закладываемые Б. Кидричем, существенно отличались от того, чем эта теория стала позже, после VI съезда КПЮ. С 1953 г. начала формироваться концепция, которую условно можно назвать «карделевской», и впервые в более или менее логически стройном виде она предстала в 1958 г. в Программе СКЮ, принятой VII съездом.

В 1964 г. на VIII съезде СКЮ была проведена коррекция концепции и положено начало экономической реформе, которая сопровождалась реформой политической организации общества, прежде всего — изменением роли партии и государства в общественной системе.

Настойчивая попытка последовательной реализации этой концепции привела в 1969—1970 гг. к кризису общественной системы, выходом из которого стали мероприятия политического и идеологического характера, проведенные по инициативе Тито в декабре 1971—1972 гг.

Их венцом явился X съезд СКЮ (1974), который скорректировал концепцию, так сказать, обратно, «вернув» ей некоторые характеристики дореформенного периода (до 1964—1965 гг.). Однако принятая в том же 1974 г. новая Конституция СФРЮ содержала некоторые положения, противоречащие материалам X съезда. Но все же это были противоречия одной концепции. В них отражались различия точек зрения в руководстве СКЮ на отдельные проблемы, но это были различия единомышленников, которые в главном стояли на одинаковых позициях.

XI—XIII съезды СКЮ существенных изменений в концепцию югославского самоуправления не внесли.

Сегодня хорошо видно, что официальная линия на развитие самоуправления привела к тому, что под воздействием теоретической и политической деятельности Карделя югославская общественно-экономическая и политическая система задохнулась под грузом огромного количества организационных форм, формо- и нормотворчества. Государство отодвигалось от непосредственной организационной экономической деятельности, а руководство партии оказалось неспособным к переводу общества на экономические методы управления. Тенденции, заложенные в этом направлении Кидричем, постепенно заглохли после его смерти: авторитет Карделя как теоретика партии был слишком велик, чтобы рядом с ним или под его сенью мог существовать творческий талант масштаба Кидрича. Руководство партии пошло по пути, который был ему наиболее знаком: создание сотен тысяч, а потом и миллионов нормативных актов в сфере управления. Только в 1977—1981 гг. в СФРЮ было принято около 2 млн управленческих актов [28].

В известном смысле переизбыток нормотворческой деятельности был вынужденным. Ведь вызванный к жизни коммунистами Югославии новый управленческий слой, сформировавшийся в основном из представителей крестьян, рабочих, мелких служащих, ремесленников и т. п., в массе своей состоял из людей малообразованных, без опыта управленческой деятельности. Они острейшим образом нуждались в указаниях и инструкциях, в буквальном смысле не могли и шагу ступить самостоятельно. Сказанное, однако, объясняет ситуацию, но не оправдывает и не изменяет конечного негативного результата. Исторический тупик, в который завело общество и страну руководство СКЮ в своих попытках осуществить нежизненную, одностороннюю концепцию самоуправления Карделя, понуждает сегодня югославских теоретиков все пристальнее всматриваться в теоретическое наследие Кидрича, искать там ответы на поставленные жизнью вопросы. Югославские ученые ныне делают попытку услышать, наконец, то, что Кидрич говорил на заре введения самоуправления, когда его слушать не захотели, ибо «нет пророка в своем отечестве». У 1979 г. на конференции, посвященной Б. Кидричу, профессор Г. Почкар прямо обратил внимание участников на это. «Б. Кидрич подчеркивал, — заявил он, — что не следует чрезмерно акцентировать дилемму „план или рынок“, считая, что оба эти компонента должны занимать положенное им место в югославской модели хозяйствования». А проф. И. Максимович отмечал, что у Кидрича «в социализме еще не идет речь о полном упразднении действия экономических законов и категорий, касающихся товарного производства. В переходный период речь по преимуществу идет о необходимости контроля за действием экономических закономерностей, т. е. направлении их развития ... во избежание проявления стихийности и спонтанности, а отнюдь не об их насильном упразднении» [26, № 7—8, с. 197].

Б. Кидричу первому пришла мысль о том, что следует пойти на ради-

кальное изменение принципов управления народным хозяйством, суть которого выразилась в том, чтобы низшему и среднему звену в экономике обеспечить большую самостоятельность при органическом ее сочетании с деятельностью государственных органов на макроуровне, реанимировать действие закона стоимости при сохранении за центральными органами ориентирующей, направляющей деятельности. Несколько позже это получило название «самоуправление предприятий». С. Вукманович-Темпо в мемуарах хорошо показывает, как эта мысль зарождалась у Кидрича, как отграничивались ее отдельные элементы и вся она в целом в интенсивных дискуссиях в узком кругу высшего звена руководства КПО [17, t. 2, s. 150—175].

Начав с предложения упразднить систему обязательного директивного планирования натуральных показателей (из центра каждому предприятию), оставив за центром планирование лишь определенного ограниченного их количества, но и это переводя на принцип экономической, а не директивной заинтересованности, Кидрич затем в течение полутора лет практически полностью разработал новую систему хозяйствования, которая в высокой степени обеспечивала экономическую самостоятельность предприятий и в то же время предохраняла народное хозяйство в целом от процессов анархии, атомизации, автаркии. В своих разработках Кидрич пошел настолько далеко, что за несколько дней до смерти высказал Вукманович-Темпо очень глубокую мысль о том, что политику управления экономикой следует вести таким образом, чтобы не препятствовать, а, наоборот, поощрять противоречия в отношениях между предприятиями и государственными органами (во всяком случае на местах) в деле, скажем, распределения дохода, заработанного коллективом предприятия, на фонд накопления и фонд потребления. По свидетельству мемуариста, руководство партии просто не поняло этой мысли и не приняло ее [17, t. 2, s. 175].

История новой Югославии сложилась так, что экономический гений Кидрича сумел только обозначить, наметить основные направления организации народного хозяйства на принципах самоуправления. Технологическую отработку этих талантливых идей взял на себя Кардель, который обладал не менее мощным талантом, но основные его способности лежали в иной плоскости — плоскости политических отношений. Поэтому внешне принимая основные идеи Кидрича, Кардель искажил их по меньшей мере по двум направлениям: нарушил основной их принцип — сочетание самостоятельности и инициативы мест и центра; выхолостил действие закона стоимости путем опутывания его системой «договорной экономики».

В принципе, в идеях этих двух мыслителей и политических деятелей было, думается, заложено очень сильное здоровое начало: проявление максимально возможной степени творческого потенциала мест и удовлетворение их потребностей с учетом ограничений, накладываемых интересами развития общества в целом. Лишь органическое сочетание этого могло обеспечить эффективное развитие локальных и общих интересов при принципиальной невозможности злоупотребления властью со стороны центра. Разумеется, здесь имеется (всегда было и всегда будет) известное противоречие. Однако это как раз то противоречие, развитие которого только и способно возбудить до стадии проявления в организованной форме на политической арене интересов всех заинтересованных и ангажированных в историческом процессе построения нового общества субъектов. Поиски конкретных взаимоприемлемых решений в процессе разрешения проблем, порождаемых действием этого противоречия, при ясной обозначенности интересов — это уже вопрос не принципа, а технологии. Однако для эффективного функционирования такой системы существенно важным является наличие различных центров принятия решений в разных сферах жизнедеятельности общества и различных идей, на основе которых эти решения разрабатываются. Образно говоря, Кардель не смог заменить Кидрича, а политическому руководству страны не из чего было выбирать.

Югославская общественная система сегодня переживает кризис. И все же нельзя согласиться с тем, что «югославская модель» зашла в тупик, дискредитировала себя, исчерпала заложенный в ней потенциал. Не может

зайти в тупик и дискредитировать себя общественная система, создатели которой пришли к правильному, в принципе, выводу о том, что социалистическое общество, организованное на административно-командных методах управления, таит в себе опасность вырождения в государственно-бюрократическую систему, которая не служит человеку, а стоит над ним и эксплуатирует его. Говорить, как представляется, следует о другом. Меры, предложенные для устранения деформации социализма, оказались неадекватными для лечения административно-бюрократической болезни. И упрек, скорее, может быть сформулирован таким образом, что югославские руководители в жесткой практике буден не смогли осуществить идеи, которые были рождены в их же среде. Ведь фактически глубокие и здравые идеи Кидрича получили в Югославии практическое подтверждение во второй половине 50-х — начале 60-х годов, когда государство еще не было полностью отодвинуто от своих управленческих функций на федеральном уровне, а предпринятая пользовались осозанной самостоятельностью. Это были годы наибольших успехов в темпах экономического развития и в повышении жизненного уровня всех слоев населения. Но когда самоуправление стало вводиться политическими методами сверху донизу, начали накапливаться кризисные явления.

Практика показала, что расширение самостоятельных, самоуправленческих начал должно проводиться соразмерно имеющимся условиям, постепенно и поэтапно; что самоуправление не может полностью заменить некоторые важные для всего общественного развития функции централизованного управления или же само по себе, одним своим существованием устранить имеющиеся в централизованном управлении недостатки.

Но самое главное — самоуправление не может быть осуществлено без сочетания с государственным управлением. Каждое из этих начал противоречит другому; каждое в своем функционировании стремится к ограничению компетенций другого. Однако каждое из них может существовать только в единстве этого противоречия. Только такое единство позволяет социалистическому государству быть действительно органом управления делами общества, а не монстром, подавляющим и общество, и каждого отдельного человека; позволяет самоуправлению быть действительным самоуправлением, а не парагосударственными органами. Оказалось, что только при наличии органов, выражающих и защищающих всеобщие интересы, могут успешно развиваться и функционировать интересы особые (групповые) и частные. А вне этого противоречивого единства самоуправление не только начинает терять первоначальный смысл, но, более того, деятельность самоуправленческих органов может вести к разрушению единства общества.

Возникает вопрос: как найти оптимальную форму, оптимальное сочетание этих двух противоположных начал? Опыт Югославии показывает, что найти абсолютный ответ на этот вопрос не дано никому — ни исследователю, ни политическому деятелю. Только практический опыт масс и их многолетняя практика при осмыслении ее результатов с позиций общей теории, только сочетание теории и опыта — для каждой страны свое, в соответствии с ее собственным историческим прошлым, национальными особенностями, традициями культуры и т. д. — может дать конкретный ответ на этот вопрос. Никогда — универсальный, абсолютный, но всегда — приемлемый и конкретный, обеспечивающий прогресс в развитии социалистического общества во всех сферах его жизнедеятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Известия, 1989, 12 I.
2. Вопросы философии, 1988, № 11, с. 39.
3. Бутенко А. П. Власть народа посредством самого народа: О социалистическом самоуправлении. М., 1988.
4. Marksizam i samoupravljanje. Т. 1—2. Beograd, 1977.
5. Teorija i praksa samoupravljanja u Jugoslaviji. Beograd, 1972.
6. Društenopolitički sistem SFRJ. Beograd, 1975, s. 94.
7. Рабочий класс и современный мир, 1988, № 5, с. 61.
8. Samoupravljanje u Jugoslaviji, 1950—1976. Beograd, 1977.

9. *Bilandžić D.* Ideje i praksa društvenog razvoja Jugoslavije, 1945—1975. Beograd, 1973.
10. *Bilandžić D.* Historija SFRJ: Glavni procesi. Zagreb, 1978.
11. *Страшун Б. А.* Социализм и демократија. М., 1976.
12. *Тихомиров Ю. А.* Социалистическое самоуправление народа. М., 1986.
13. *Kardelj E.* O narodnoj demokratiji u Jugoslaviji.— *Komunist*, Beograd, 1949, № 4.
14. Samoupravljanje i radnički pokret. Т. 1—3. Beograd, 1973, s. 450.
15. Историческое дело Тито и Карделя — непреходящая основа и путеводная звезда развития социалистической революции. Beograd, 1982, с. 5—6, 17, 28—29.
16. *Броз Тито Ј.* Говори и гланци. Књ. 4. Загреб, 1959, с. 62—63.
17. *Vukmanović-Tempo S.* Revolucija koja teče. Memoari. Т. 1—2. Beograd, 1971.
18. V Конгрес КПЈ. Извештаји и реферати. Beograd, 1948.
19. *Кидрич Б.* О текућим питањима наше привредне политике.— *Комунист*, Beograd, 1949, № 2.
20. *Кидрич Б.* Карактер робноновчаних односа у ФНРЈ.— *Комунист*, Beograd, 1949, № 1.
21. *Ракочевич Ж.* «Тезиси...» Кидрича — «экономическая таблица» самоуправления.— Социалистическая мысль и практика. Белград, 1972, № 37, с. 58.
22. *Кидрич Б.* Тезе о економици прелазног периода у нашој земљи.— *Комунист*, Beograd, 1950, № 6.
23. *Kidrić B.* Sabrana dela. Т. 6. Beograd, 1985.
24. Borba komunista Jugoslavije za socijalističku demokratiju. VI Kongres KPJ. Beograd, 1952, s. 263.
25. Марксистичка мисао. Beograd, 1983, № 1, с. 83—84.
26. *Savremenost.* Novi Sad, 1979.
27. *Комунист.* Beograd, 1954, № 1/2, с. 4, 9.
28. *Špiljak M.* Udruženi rad u borbi za socijalističko samoupravljanje i društveno-ekonomski razvoj. Beograd, 1981, s. 12—14.



БОРИСЕНКО Ю. А.

КОНТАКТЫ М. А. БАКУНИНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИЙ 1848—1849 ГОДОВ

В истории русско-польских революционных связей имя М. А. Бакунина занимает особое место. Вся его деятельность, как в 40-е годы XIX в., так и в более поздний период, после побега из Сибири в 1861 г., неотделима от активного сотрудничества с польским национально-освободительным движением. Бакунин, продолжая традиции декабристов, внес немалый вклад в дело польско-русского революционного союза на базе совместной борьбы с царизмом.

Между тем проблема польских контактов Бакунина, особенно в период его первой эмиграции, принадлежит к числу недостаточно разработанных в историографии. Среди работ 20—30-х годов, где она затрагивается, выделяется труд Ю. М. Стеклова, основанный на богатом фактическом материале, но не лишенный серьезных теоретических ошибок [1]. Непримирым научный оппонент Стеклова В. П. Полонский располагал ценными данными, добытыми в зарубежных архивах во время научных командировок, но не сумел ими должным образом воспользоваться, слабо ориентируясь в истории польского освободительного движения [2]. Отсюда многочисленные ошибки в изданных под его редакцией материалах для биографии Бакунина [3]. В работах последнего времени, в том числе и в содержательных исследованиях Н. М. Пирумовой [4; 5], польские контакты Бакунина представлены сжато, на основе традиционных источников.

Деятельность Бакунина в польской революционной среде в 1840-х годах пока не стала объектом специального внимания советских исследователей русско-польских революционных связей. В большинстве работ содержится лишь констатация давно известных фактов, почерпнутых в основном из «Исповеди» Бакунина и у Стеклова, основанная на подчеркнутом доверии к бакунинскому «покаянию» [6]. На этом фоне выделяются опирающиеся на интересный архивный материал труды В. А. Дьякова, затронувшего практически не исследованный вопрос о существовании связей между Бакуниным и варшавскими конспираторами 1848 г. [7].

Польская историография дореволюционного и межвоенного периодов почти не рассматривала польские связи Бакунина [8; 9]. Определенный интерес к данной проблеме проявился в Польше после второй мировой войны. Наиболее плодотворно изучались контакты Бакунина и Лелевеля, а также подробности участия Бакунина и поляков в Дрезденском восстании в мае 1849 г. [10]. В 1962 г. появилась пока что единственная монография по интересующей нас теме [11]. Попытка А. Лесъневского систематизировать накопленные ранее данные была в целом удачной и в известной степени заполнила имевшийся в историографии пробел. Автор сумел объективно подойти к оценке практической деятельности Бакунина в польской

Борисенок Юрий Аркадьевич — аспирант кафедры южных и западных славян МГУ.

революционной среде. Но ряд существенных просчетов, в частности, приписывание Бакунину идей панславизма и славянофильства, снижают научный уровень работы.

Контакты Бакунина с представителями польского освободительного движения в период первой эмиграции можно разделить на четыре последовательных этапа: конец 1840 — февраль 1844 г. — первоначальное знакомство с польским освободительным движением; март 1844 — февраль 1846 г. — период революционных симпатий к польской демократической эмиграции; март 1846 — февраль 1848 г. — попытки практического участия в польском национально-освободительном движении; февраль 1848 — май 1849 г. — период совместного участия Бакунина и польских революционных деятелей в революциях 1848 — 1849 гг.

Наибольшее число «белых пятен» приходится на период 1846—1848 гг. Между тем именно тогда симпатии Бакунина к польскому национально-освободительному движению приобрели конкретное практическое воплощение. Из-за строгой конспирации, в условиях которой осуществлялась тогда революционная деятельность, сегодня можно восстановить лишь основные направления работы Бакунина в эти годы, делавшего ставку на подготовку общеевропейской народной революции, важнейшими составными элементами которой должны были быть революционные события в Польше и России.

К моменту начала Краковского восстания 1846 г. Бакунин находился в эмиграции более пяти лет. За это время он установил ряд полезных контактов с видными представителями польского освободительного движения, и прежде всего с И. Лелевелем. В 1844—1845 гг. эти отношения не были еще глубоко законспирированы и не выходили за пределы искренних революционных симпатий. Влияние Объединения польской эмиграции (ОПЭ), к которому принадлежал знаменитый историк, и его практическая деятельность на польской территории были незначительны. Но встречи с Лелевелем и его соратниками (В. Зверковским, Ч. Пенёнжком, Ф. Рогиньским, П. Копчиньским) явились хорошей революционной школой для Бакунина, способствовали его быстрой адаптации в среде польской эмиграции. Учитывая присущую Бакунину общительность (за несколько дней своего пребывания во Франкфурте-на-Майне он успел завязать знакомства более чем с 50 деятелями [12, т. III, с. 297—298]), можно усомниться в истинности его утверждения о том, что до весны 1846 г. он не виделся более ни с одним поляком, исключая Алоиза Бернацкого, «занимавшего место министра финансов во время польской революции (восстания 1830—1831 гг. — Ю. Б.)» [12, т. IV, с. 117]. Другое дело, что «старый друг польской свободы» (определение из статьи Бакунина в газете «Реформа» в январе 1845 г.) о практической революционности имел еще весьма смутное понятие и откровенно тяготел к салонному демократизму.

Краковское восстание 1846 г. кардинально изменило отношение Бакунина к польскому освободительному движению и революционной деятельности вообще. Планы Польского демократического общества (ПДО), активно участвовавшего в подготовке восстания, были в целом известны демократическим кругам парижской эмиграции, в том числе и Бакунину. Уже в начале 1846 г. он ищет возможность доказать полякам, что полностью готов практически поддержать их выступление.

4 марта до Парижа дошли известия о восстании в Кракове. Бакунин с энтузиазмом воспринял попытку поляков завоевать свободу, предпринятую после 15-летнего перерыва. Он прямо заявляет в «Исповеди» Николаю I: «Польское восстание ... составило эпоху в моей собственной жизни» [12, т. IV, с. 117]. Он жадно следил за положением в различных частях Польши, хотя и пытался доказать царю, что события 1846 г. были для него полной неожиданностью: «Познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествие в Галиции меня настолько же поразили, как и прочую публику» [12, т. IV, с. 117]. Именно события 1846 г., пусть и завершившиеся неудачей, послужили последним толчком для перехода Бакунина на позиции практической революционной деятельности, направленной против деспотических государств: России,

Пруссии, Австрии и Турции. Теперь он мог реально осуществить идеи, изложенные в письме брату Павлу от 17(29) марта 1845 г.: «Я, наконец, победил в себе метафизику и философию и весь всюю полнотою души своей бросился в практический мир, мир действительного дела, действительной жизни» [12, т. III, с. 245].

Показателем этих настроений явилась статья в газете от 19 марта 1846 г., где Бакунин подверг уничтожающей критике русификаторскую политику царизма на примере преследования монахинь-униатов в Белоруссии. Православное духовенство во главе с епископом Семашко жестоко обрушилось на униатов, не подчинившихся решениям Полоцкого собора 1838 г., провозгласившего объединение православной и греко-католической церквей. Впечатления периода военной службы в Белоруссии (1834—1835) глубоко запали Бакунину в душу и были заново переосмыслены им [12, т. I, с. 152, 161, т. III, с. 257—260]. Русский революционер четко указал на взаимосвязанность освобождения Польши и России, всецело поддерживая вооруженную борьбу польских патриотов. Он ясно дал понять польской эмиграции, и прежде всего руководству ПДО, что они с полным основанием могут считать его своим надежным союзником.

Бакунин предпринимает решительный шаг. Полный оптимизма и жажды организовать масштабное революционное дело, он направляется в Версаль для переговоров с Централизацией ПДО. Момент для контактов был выбран им в целом неудачно. Судя по всему, Бакунин появляется в Версале в конце марта 1846 г., по возвращении членов Централизации В. Хельтмана и Ю. Высоцкого¹ из польских земель после поражения Краковского восстания, когда по оптимистическим планам польских демократов был нанесен ощутимый удар. Сорвалась попытка организации всеобщего восстания во всех трех частях разделенной Польши, ПДО лишилось одного из виднейших руководителей — Л. Мерославского, угодившего в руки прусских властей. Контакты с эмиссарами после краковских событий практически отсутствовали, тщательно сплетенная конспиративная сеть была, по существу, ликвидирована.

Тем не менее сам факт появления Бакунина среди руководителей наиболее влиятельной группировки левого крыла польского освободительного движения был весьма знаменателен. Годом—двумя ранее Бакунину в Версале могли холодно указать на дверь, теперь же он был принят. Подобная позиция руководства демократов во многом объяснялась активизацией объединительных процессов внутри ПДО. В апреле 1846 г. окончательно решился вопрос о роспуске ОПЭ и индивидуальном приеме его членов в ПДО. Для Бакунина вступление Лелевеля и других руководителей ОПЭ в ряды демократов означало, что подозрения в «лелевелизме» не будут играть определяющей роли при его контактах с Центризацией.

В ходе версальских бесед Бакунин изложил Централизации свои революционно-демократические взгляды: «Я хотел им предложить совокупное действие на всех русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи, достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставил русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель — основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении» [12, т. IV, с. 118].

Бакунинская программа славянской федерации к тому времени еще только складывалась и была открыто выдвинута в 1848 г. на Славянском съезде в Праге и в двух «Воззваниях к славянам». Надо полагать, что двумя годами ранее в Версале эта тема не находилась в центре переговоров,

¹ Во время их отсутствия функции Централизации исполнял комитет в составе В. Дараша, Э. Корабевича и М. Стахерского. Эта пятерка выполняла свои обязанности вплоть до новых выборов, состоявшихся 12 апреля в связи с тем, что из избранных на 1846 г. членов Централизации остались только трое — Хельтман, Высоцкий и Дараш. Теперь в ее состав вошли Ю. Высоцкий, В. Хельтман, В. Дараш, Л. Зенкович и В. Мазуркевич, приступившие к исполнению своих обязанностей 3 июня 1846 г. [13].

а приведенное высказывание из «Исповеди» призвано было создать у царя вполне определенное представление об уровне польских контактов Бакунина.

Идеи славянской федерации в польском освободительном движении активно выражал Лелевель [14, с. 67—68, 136, 329—331]. Мысли, высказанные им еще в начале 30-х годов, стали для Бакунина важным фактором творческого развития федералистских концепций в применении к конкретным потребностям революционной эпохи. Влияние теории славянской федерации Лелевеля на ведущих идеологов ПДО (В. Хельтмана, Я. Н. Яновского) было неглубоким и практически не отразилось на политической платформе демократов. Общеславянское единство куда более решительно, исходя из своих конкретных целей, проповедовали консерваторы во главе с А. Чарторыским [15]. Устремления демократов обычно ограничивались достижением независимости Польши силами самих поляков.

Бакунин появился среди руководителей ПДО отнюдь не для теоретических дискуссий. Но практически в тот период поляки ничего не могли предложить русскому революционеру. Положение в Польше после Краковского восстания было далеким от оптимистической картины, рисовавшейся в воображении Бакунина. Он ожидал от демократов конкретного дела, а мог получить лишь абстрактные симпатии и удивление излишней для ПДО радикальностью своих воззрений. Революционную работу можно было осуществлять лишь после восстановления сил, и в этом отношении Бакунин, уже тогда тяготевший к немедленному революционному действию, был, конечно, разочарован.

Но в «Исповеди» он намеренно сгустил краски, выдвигая на первый план действительно существовавшие между ним и членами Централизации разногласия: «Они мне показались тесны, ограниченны, исключительны, ничего не видели, кроме Польши, не понимая перемен, прошедших со времени действительного ее покорения» [12, т. IV, с. 118]. Между тем для тактики, стиля поведения Бакунина в среде польских революционеров в тот период было характерно прежде всего стремление к компромиссному решению спорных вопросов во имя будущего революционного дела, а отнюдь не выпячивание недостатков идеологии ПДО. К тому же близость революционных программ Бакунина и польских демократов, их ярко выраженная практическая направленность были очевидны.

Бакунин всячески стремился в своих тюремных показаниях в Саксонии и Австрии и особенно в «Исповеди» отменить отсутствие каких-либо прочных связей в рядах демократов. О времени, предшествовавшем его знаменитой речи на польском митинге в Париже 29 ноября 1847 г., властям не было известно практически ничего. В ходе саксонского и австрийского следствий вопросы о его парижских контактах предреволюционного периода почти не поднимались. Так что Бакунин, не зная о том, что в период с 18 октября 1844 г. по 28 января 1847 г. его «преступные деяния» никак не отражены в объемистом деле III Отделения [16, 1848 г., д. 116, ч. 1], мог «подсунуть» царю лишь самую общую картину событий, в нужных местах смягченную и приглаженную. Понятно, что именно отношения с поляками замалчивались в первую очередь.

Между тем уже сама продолжительность контактов Бакунина с Централизацией, указанная им (начало весны — конец лета 1846 г.), должна была заставить задуматься проницательных читателей его «Исповеди». «Откровенное признание» в том, что «после нескольких бесплодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеться, и движение мое, преступное в цели, не могло иметь на этот раз никакого преступного последствия» [12, т. IV, с. 119], решительно опровергается фактами, содержащимися в переписке Бакунина и прямо или косвенно указывающими на отсутствие разрыва между ним и Централизацией.

Можно предположить, что в конце лета 1846 г. прекратились тесные регулярные контакты Бакунина с руководством демократов, что отнюдь не означало прекращения всех отношений с Версалем. Вплоть до начала европейских революций он поддерживал связь с ведущими деятелями ПДО, в частности, с Хельтманом. В 1935 г. Х. Лучакувна упомянула о суще-

ствовании писем Бакунина к Хельтману от 1847 г. [9, с. 242] (бумаги Хельтмана погибли во время второй мировой войны). Бакунин был достаточно осведомлен о намерениях и планах польских эмигрантов, ни о каких подозрениях его в «шпионстве» со стороны руководителей ПДО речь идти не может.

Отношения с поляками составляли органическую часть парижских связей Бакунина, причем контакты эти (в отличие от поездок в Версаль весной и летом 1846 г.) были многосторонними. Среди его знакомых были французы и немцы (в частности, Гервеги), через которых он узнал многих польских деятелей. Например, Бакунин и Г. Гервег имели давние отношения с К. Мазуркевич, сестрой Л. Мерославского и женой члена Централизации В. Мазуркевича. В 1847 г. она активно действовала в Познани в качестве агента этой организации [9, с. 184]. В своей переписке Бакунин упоминает о возвращении К. Мазуркевич в Париж, о ее бракосочетании и своем твердом намерении посетить ее в Версале [12, т. III, с. 265—269].

Контакты Бакунина с руководством ПДО были очень полезными для него, хотя и не оправдали его смелых надежд на совместную революционную работу. Общение со старыми революционерами, обладавшими опытом конспиративной и революционной работы, представлявшими наиболее сильную и жизнеспособную организацию польской эмиграции, благотворно повлияло на Бакунина, подтолкнув его к дальнейшему расширению связей с поляками с акцентом на практическую революционную деятельность.

В 1846 — начале 1848 г. Бакунин поддерживал отношения разного уровня и масштаба с польскими деятелями, принадлежавшими к различным группировкам и придерживавшимися самых разных политических убеждений. Большинство его знакомых поляков в этот период были связаны с ПДО. Объединение вокруг этой организации других эмигрантских групп повлекло за собой крайнюю пестроту ее рядов. В ПДО находились люди, решительно не разделявшие взгляды Централизации. В их числе наряду со вновь принятыми сторонниками распущенных в 1846 г. эмигрантских организаций зачастую оказывались поляки, покинувшие родину после неудачи Краковского восстания. Именно на них и обратил пристальное внимание Бакунин, не найдя соответствующего взаимопонимания с руководством ПДО.

В «Исповеди» он так повествует об этом времени: «От конца лета 1846-го до ноября 1847-го я опять оставался в полном бездействии», что при внимательном прочтении немногих сохранившихся источников представляется весьма сомнительным. «С польскими демократами, — продолжает он, — я более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича» [12, т. IV, с. 119].

Бакунин резко отзываясь о мистических склонностях польского поэта и его единомышленников и указывает, что Мицкевич хотел обратить его в свою веру, но не смог [12, т. IV, с. 112—113]. В то же время нельзя отказывать и Бакунину в стремлении «обращать» собеседников в свою веру, что было характерно для его неуемной натуры. А. Лесьневский находил следы влияния Бакунина во взглядах самого Мицкевича периода революций 1848—1849 гг. при всех его консервативных и мистических убеждениях [11, с. 21]. Бакунину было свойственно пытаться сделать своими сторонниками людей, часто противоположных ему по взглядам и симпатиям. В среде молодых людей, эмигрировавших из Польши в 1846 г., он надеялся найти почву для будущей результативной революционной деятельности во имя освобождения Польши, России и славянства. Хотя не все эти лица оправдывали бакунинские надежды, ряд косвенных данных указывает на то, что его активность не была напрасной.

Большинство новых эмигрантов имели значительный опыт конспиративной работы, что более всего привлекало Бакунина после его контактов с Централизацией, ибо шансов на развертывание революционной борьбы в этой среде было значительно больше. Бакунин пытается сплотить вокруг себя некоторую часть молодой эмиграции. О том, что этот

процесс был достаточно успешным, свидетельствуют два письма Бакунина польскому эмигранту М. Лемпицкому (1818—1884) и его товарищу Владиславу². Из писем, отправленных из Брюсселя в начале 1848 г., явствует, что Бакунин знал Лемпицкого по Парижу по крайней мере с 1847 г. [12, т. III, с. 269—270]. Особо примечательной роли в эмиграции этот человек не играл. В начале 40-х годов он был связан с варшавскими конспираторами, за что подвергся аресту; после выхода из заключения выехал во Францию, где вступил в ПДО [18, с. 390].

Историки совершенно изолированно воспринимали впервые опубликованные Стекловым письма, считая контакты Бакунина с Лемпицким и таинственным Владиславом никак не связанными с его дальнейшей деятельностью в среде польских революционеров [12, т. III, с. 484; 5, с. 102]. Материалы биобиблиографического словаря М. Тыровича позволяют несколько прояснить картину. Лемпицкий был исключен из ПДО 28 августа 1847 г. по приговору Братского суда в Бордо за то, что не разделял основных принципов этой организации. Среди 26 человек, которые подверглись тогда тому же наказанию, были самые разные люди — бывшие члены ОПЭ, участники Краковского восстания, в том числе известный деятель польского освободительного движения Владислав Дзвонковский. Поводом для исключения Лемпицкого и ряда других эмигрантов явился подписанный ими 31 июля 1847 г. манифест об образовании Национального союза в эмиграции.

До сих пор личность человека, упомянутого в письмах Бакунина под именем Владислав, остается не выясненной. Более того, не существует никаких догадок и предположений на сей счет, несмотря на то, что содержание писем позволяет заключить, что особый интерес для Бакунина представляли контакты именно с этим поляком. Логично допустить, что неизвестный нам Владислав являлся какое-то время членом ПДО. Материалы словаря Тыровича позволяют однозначно предположить, что именно Дзвонковский и был тем Владиславом, которому адресовались письма Бакунина (относительно еще 12 лиц, состоявших в рядах ПДО и носивших то же имя, невозможно предположить даже отдаленные сношения с Бакуниным и Лемпицким).

В. Дзвонковский (1818—1880) являлся одним из активнейших конспираторов 40-х годов. По данным Лучакувны, наряду с Э. Дембовским и Х. Каменьским он был одним из руководителей агентурной сети после ареста в 1841 г. Л. Лукашевича [9, с. 147]. После создания в 1840 г. Союза польского народа Дзвонковский исполняет функции связника между этой организацией и эмиграцией. Выйдя в 1843 г. на свободу после семимесячного заключения, он направляется в русскую часть Польши, где активно включается в деятельность организации П. Сцегенного. Избежав на этот раз ареста, он оказывается в прусской части Польши, представляя интересы революционеров Королевства Польского. В 1845 г. Дзвонковский появляется во Франции, где поддерживает связи сразу с несколькими организациями — ПДО, ОПЭ, Комитетом генерала Дверницкого, вступив в конечном счете в ряды демократов. Он принял активное участие в подготовке и осуществлении восстания в Кракове, являлся членом Национального правительства, где представлял Королевство Польское. С апреля 1848 по 1850 г. Дзвонковский руководил вроцлавской агентурой, которая ведала переброской оружия и литературы в различные части Польши [18, с. 157—158].

Для Бакунина такие люди, как Дзвонковский, были просто находкой. Именно на них он возлагал особые надежды в осуществлении своих революционных планов, излагая перед ними свою программу без каких-либо тактических уловок, к которым так часто прибегал в общении с польскими революционерами: «С другими я иногда дипломатничал, правда, против своей воли, и, может быть, я еще часто буду принуждаем к этому людьми,

² Первая публикация этих писем относится к 1935 г. (см. [12, т. III, с. 269—271; 17]). Примечательно, что Н. М. Мендельсон в «Звеньях» счел адресатов «неустановленными».

с которыми мне придется иметь дело; но с вами двумя никогда» [12, т. III, с. 286].

Содержание брюссельских писем Дзвонковскому и Лемпицкому показывает, что взгляды Бакунина в значительной степени разделялись ими. Описывая встречу с графом В. Тышкевичем, Бакунин подверг резкой критике его воззрения и подчеркнул, что «он... с некоторым недоверием взглянул на ваше движение и мое и спросил меня, не коммунист ли Владислав, на что я совершенно положительно ответил, что нет, и постарался разъяснить ему разницу между славянской общиной и фаланстером» [12, т. III, с. 286].

Очевидно, что Бакунин, в течение всей последующей революционной деятельности питавший неистребимое пристрастие ко всякого рода тайным обществам с участием особо доверенных лиц, уже перед революциями 1848—1849 гг. делает попытку создания какого-то «движения», рассчитанного на серьезное дело. В отличие от Централизации Дзвонковский в тот период стремился к максимальному ускорению революционных приготовлений, что не могло не встретить поддержки со стороны Бакунина [19].

Именно Дзвонковский с его богатыми связями (особенно в Королевстве Польском, представлявшем наибольший интерес для Бакунина), хорошо знавший прогрессивные течения внутри Польши (в частности, воззрения Сцегенного), а также имевший нечеткие, не до конца сформировавшиеся идейные позиции, являлся самой подходящей кандидатурой для участия в «движении», главную роль в котором должен был играть Бакунин.

Таким образом, Бакунин рассчитывал деятельно влиять на грядущие революционные события, что создавало наряду со связями в руководящих кругах ПДО определенную основу для практического осуществления его революционных планов. Дальнейшая судьба «движения», несомненно, сложилась вопреки оптимистическому тону первого бакунинского письма. Полностью обратить в свою веру Дзвонковского и Лемпицкого Бакунин, похоже, так и не успел, ибо был выслан из Парижа.

Но неверно полагать, что отношения Бакунина и Дзвонковского на этом закончились. Находясь в 1848 г. во Вроцлаве, русский революционер имел отношение к конспиративной деятельности Дзвонковского, причем обстоятельства этих контактов держались в строгой тайне. Среди перечисленных Бакуниным в «Исповеди» районов Польши, откуда съехались на вроцлавский съезд знакомые ему поляки, нет упоминаний о Королевстве Польском (оно формально было представлено на майском съезде самим Дзвонковским и В. Клопфлейшем) [20]. Можно предположить, что Дзвонковский был одним из тех, кто посвятил Бакунина в обстоятельства деятельности «Организации 1848 г.» под руководством Х. Краевского, действовавшей в Варшаве с конца 1847 г. Программа варшавских конспираторов была достаточно своеобразной, сочетая гегелевскую философию и идеи славянской федерации. В. А. Дьяков отметил активное стремление Бакунина установить связи с этой организацией [7, с. 360—361]. Поэтому вполне вероятно возможность контактов Бакунина с Клопфлейшем, который представлял во Вроцлаве интересы группировки Краевского. Содержавшееся в показаниях Клопфлейша перед царским судом упоминание о некоей русской революционной организации, якобы установившей с 1846 г. контакт с Централизацией ПДО, очень напоминает бакунинскую мистификацию [21]³. Об организации в Варшаве Бакунин впоследствии получил самую подробную информацию от Краевского, с которым очень сдружился в Сибири, рекомендуя его родным в Прямухине с самой лучшей стороны [22].

Не исключено, что Дзвонковский имел отношение к контактам Бакунина с Л. Лукашевичем, о чем свидетельствует записка из Кракова (от

³ Показания Клопфлейша относятся к 1852—1854 гг., когда называть имя Бакунина, содержавшегося в Петропавловской крепости, было небезопасно. Клопфлейш утверждал, что получил информацию о русской тайной организации от Л. Зенковича, который с 1852 г. находился в Лондоне.

14 июля 1848 г., адресованная Бакунину [3, т. II, с. 9]. Можно предположить, что упомянутый здесь Владислав — это Дзвонковский, который поддерживал связь с Краковом и бывал там. Любопытны и известия о несостоявшейся поездке Бакунина в маленький силезский городок Мысливец — важнейший центр связей агентуры В. Дзвонковского. В материалах, представленных австрийским правительством III Отделению, содержится подробный отчет о деятельности арестованной в 1846 г. А. Лисовской, «в руках которой соединились нити поисков, направляемых из Бреслава и Кракова». Среди лиц, пользовавшихся ее услугами, австрийская полиция особо выделяла «главного двигателя заговора» — Хельтмана, скрывавшегося под псевдонимом Эйзебиус [16, 1849 г., д. 4, ч. 6, л. 28об.—33об.]. Бакунин решительно отрицал связь с Лисовской. Его показания, хотя и заслуживающие минимального доверия в деталях, свидетельствуют, что он пользовался услугами польских конспираторов, поддерживавших его попытки установить отношения с Царством Польским [3, т. II, с. 166; 12, т. III, с. 521].

Дзвонковский имел отношение к деятельности бакунинской революционной организации в Праге. В мае 1849 г. эmissар Бакунина поляк Ю. Аккорт заявил Э. Арнольду и К. Сабине, что оружие для готовящегося восстания уже находится в пути, для чего он должен немедленно ехать во Вроцлав [23, S. 146—149]. А одной из главных функций агентуры Дзвонковского являлась именно доставка оружия. Таким образом, пути Бакунина и Дзвонковского закономерно пересекались в ходе революционных событий, что было предопределено интенсивными контактами предшествующего периода.

Бакунин несколько не преувеличивал, когда заявлял в письме Л. Фохт от 5 августа 1847 г.: «А в остальном я живу почти только с поляками и всецело бросился в польско-русское движение» [12, т. III, с. 263]⁴. Среди его польских знакомых преобладали лица с революционными связями и опытом борьбы 1846 г., представлявшие «живую часть эмиграции». В «Исповеди» Бакунин пытался доказать, что знал только «толпу шумящую», а не «действительных вождей движения» [12, т. IV, с. 125—126]. Характер же бакунинских контактов (известных крайне неполно) позволяет говорить о строгой избирательности при выборе знакомых в тех случаях, когда речь заходила о «революционном деле».

С Бакуниным был знаком (через Э. Гервег) познанский помещик Т. Магдзинский (1818—1889). В январе 1846 г. он отправился через Кенигсберг в литовские земли, чтобы возглавить восстание в Жемайтии. После неудачи планов ПДО и местных повстанцев он был арестован при попытке скрыться из Познани, но вскоре сумел бежать во Францию [18, s. 401]. Как показывает его письмо, обнаруженное у Бакунина при аресте, Магдзинский поддерживал славянскую программу русского революционера. Бакунин тепло отзывался о нем в письмах, подчеркивая его откровенность [3, т. II, с. 93—94; 12, т. III, с. 269, 289]. Знакомство с Магдзинским, а также с Я. Н. Садовским и Дзвонковским, отвечавшими по плану демократов 1845 г. за организацию восстания соответственно в Восточной Пруссии и Королевстве Польском, позволяет предположить, что Бакунин имел представление о так и не реализованной программе ПДО по организации восстания в 1846 г. [12, т. III, с. 269]. Он преследовал совершенно конкретную цель: практически способствовать делу польско-русского союза, основанного «на единстве расы, на взаимной независимости и свободе и спаянного общей оппозицией императорскому режиму» [12, т. III, с. 264].

Напряженные поиски Бакуниным действительного революционного дела в среде польской эмиграции часто наткнулись на трудно преодолимые препятствия. Само появление одинокого русского революционера среди поляков могло стать источником темных слухов. Склонный (не без влияния Лелевеля) рассматривать польское движение целю, на практи-

⁴ Нельзя согласиться с мнением Стеклова и Пирумовой, что приведенная фраза представляет собой «только слова» [12, т. III, с. 477; 5, с. 79].

ке часто абстрагируясь от постоянных разногласий между поляками, Бакунин мог насторожить даже своих хороших знакомых.

Резкое повышение активности Бакунина в 1846—1848 гг. стало поводом для многочисленных слухов о его «шпионстве». Источники их различны. Одними из первых отозвались «польские друзья» французской полиции, благодаря чему на свет появился доклад префекта парижской полиции министру внутренних дел от 6 февраля 1847 г.: «Этот иностранец (Бакунин.— Ю. Б.) привлекает и принимает у себя значительное количество польских эмигрантов; уверяют, что хотя он и выступает в качестве самого преданного их друга, но вместе с тем стремится раздуть среди них разногласия...» [12, т. III, с. 487]. Вывод делался однозначный: Бакунин — тайный агент царизма, призванный внести раскол в ряды эмиграции и выявить ее планы. Здесь налицо естественная реакция, как представляется, членов ПДО, крайне плохо информированных о Бакунине и лично с ним не встречавшихся. Впрочем, не стоит переоценивать влияние этого слуха, а также появившихся 25 марта в «Deutsche Brüssele Zeitung» и перепечатанных 17 апреля в «Demokrata Polski» известий о шпионстве «литературного агента царизма» Я. Толстого, которого вполне могли спутать с казанским помещиком Г. М. Толстым, общавшимся с Бакуниным [23, S. 25—27]. К разрыву отношений Бакунина с Централизацией эти слухи привести не могли, но подозрение оставалось.

Особый всплеск клеветы и разного рода инсинуаций относительно Бакунина вызвало его первое публичное выступление на польском митинге в Париже в честь 17-й годовщины начала восстания 1830—1831 гг. В присутствии полутора тысяч человек Бакунин открыто высказал свои революционно-демократические взгляды на русско-польский революционный союз [12, т. III, с. 270—279]. Речь 29 ноября 1847 г. стала вехой на пути Бакунина-революционера, она обратила на него внимание всей революционной Европы. Страстная жажда революции, разрушения устоев деспотизма, острая критика николаевского режима не прошли мимо ушей многочисленных европейских агентов III Отделения, в том числе поляков. Последовавшая вслед за этим высылка Бакунина из Франции нанесла ущерб его польским контактам, оторвав от интенсивной деятельности, о которой он умалчивает в «Исповеди».

По сравнению с парижскими, брюссельских поляков, по мнению Бакунина, отличали «апатия и безразличие». Лелевель как политик оценивался им в новых условиях крайне невысоко, особенно его участие в Демократическом обществе для объединения всех стран, руководимом К. Марксом, Ф. Энгельсом и Борнштедтом. «Хороший прием» у графа Тышкевича и генерала Сквиинецкого значил для Бакунина не очень много. В письме П. В. Анненкову он резко осуждал аристократизм Тышкевича, «возглавляющего мертвый организм», где «мелкая ненависть и слепоты доведены до высшей степени развития». При встречах с консерваторами Бакунин рассчитывал, «что у них сохранились какие-то полезные связи с краем», и часто шел на компромиссы [12, т. III, с. 284—285].

Бакунин принял активное участие в подготовке митинга в честь Ш. Конарского. Работавшие вместе с ним К. Залеский и Л. И. Семеньский, будущие участники Славянского съезда в Праге, не вызывали у него особой симпатии. Залеский, в юности участвовавший в организации филаретов в Виленском университете и поддерживавший в начале 20-х годов связи с декабристами, характеризуется достаточно резко: «Добр, но смешон» [12, т. III, с. 287]. Главным критерием оценки того или иного польского деятеля становится для Бакунина способность к реальному революционному делу.

В речи на митинге в Брюсселе 14 февраля 1848 г., известной лишь в изложении «Исповеди», Бакунин делает акцент на близость революции, которая должна практически осуществить идеи русско-польского революционного союза и «великой будущности славян»: «Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг» [12, т. IV, с. 119—120].

Лелевель с чувством глубокой симпатии обратился к русскому револю-

ционеру, еще раз высказав свои идеи славянской федерации и русско-польского революционного союза, основы которого были заложены декабристами и Конарским. Резко осудив «идол панславизма», выдающийся польский историк призвал к соединению славянского движения «с народами румынским, немецким, венгерским» в борьбе против общего врага — деспотических монархий [14, с. 536—545]. Эти взгляды были полностью созвучны программе Бакунина периода 1848—1849 гг. Лелевель подчеркнул, что на пути взаимопонимания между поляками и русскими встречаются трудно преодолимые препятствия, имеющие старые исторические корни [14, с. 546].

Прямым последствием этих препятствий была новая волна обвинений Бакунина в «шпионстве», главной причиной которых послужила речь 29 ноября 1847 г. Наиболее вероятно, что французское правительство в лице Гизо, не удовлетворившись высылкой русского «смутьяна», решило полностью дискредитировать его в глазах поляков, предоставив в распоряжение А. Чарторьского и других консерваторов весь «букет» агентурных данных, собранных на Бакунина французской полицией. Вопрос об источнике клеветы до конца не выяснен. В Брюсселе, основываясь на информации А. Рейхеля, Бакунин посчитал замешанными в этой истории И. Головина и бывшего члена краковского Национального правительства М. Пелчиньского, будто бы дурно отзывавшихся о нем у Чарторьского [12, т. III, с. 288, т. IV, с. 126]. Отголоски этих известий проявились и в окружении Лелевеля, выразившись в неприязненном отношении к Бакунину Л. О. Люблинера.

В целом же провокационная затея успеха не имела, хотя нельзя не заметить, что последующие вспышки темных слухов подобного рода были в значительной степени производными от этих слухов.

Таким образом, в 1846—1848 гг. М. А. Бакунин устанавливает достаточно интенсивные контакты с представителями преимущественно демократического крыла польской эмиграции на основе ярко выраженного революционного демократизма, существенной стороной которого явилась пропаганда идей русско-польского революционного союза и славянской федерации. Бакунин показал себя как революционер, страстно стремившийся к практической деятельности и подходивший к своим польским контактам именно с этих позиций. Деятельность его, постоянно натывшаяся на естественные разногласия и непонимание, носила в целом достаточно результативный характер. Для многих поляков к моменту начала революции 1848—1849 гг. Бакунин уже не являлся «чужеродным элементом»; существовала принципиальная возможность его совместной деятельности с польскими демократами.

Отношение Бакунина к делу независимости Польши было важнейшей чертой его национальной программы, принципиально чуждой шовинизму, панславизму и идее славянской исключительности. Эта сторона его деятельности имеет существенное значение, ее нельзя игнорировать, изучая процесс развития Бакунина как революционера.

Обращение к мало исследованным проблемам биографии Бакунина предполагает целостное восприятие личности этого в высшей степени своеобразного человека, причастного ко многим важнейшим событиям европейской истории XIX в. Деятельность Бакунина должна рассматриваться во всем ее противоречивом многообразии, органически чуждом догматическим схемам, нарочитому оглуплению и голословной дискредитации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Стеклов Ю. М.* Михаил Александрович Бакунин, его жизнь и деятельность. Т. 1—4. М.—Л., 1926—1927.
2. *Полонский В.* Михаил Александрович Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление. Т. I. М.—Л., 1925.
3. Материалы для биографии Михаила Александровича Бакунина по делам III Отделения и б. Морского министерства. Т. I—III. М.—Л., 1923—1933.
4. *Пирумова Н. М.* Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. М., 1966.
5. *Пирумова Н. М.* Бакунин. М., 1970.
6. Очерки революционных связей народов России и Польши. М., 1976, с. 113—115.

7. *Djakow W.* Warszawska organizacja konspiracyjna 1848 roku.— Kwartalnik historyczny, 1976, № 2.
8. *Liłtanowski B.* Szermierze wolności. Kraków, 1911.
9. *Zuczakówna H.* Wiktor Heltman, 1796—1874. Poznań, 1935.
10. *Kieniewicz S.* Samotnik brukselski. Warszawa, 1964; *Bortnowski Wł.* Stanowisko Lelewela wobec rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Łódź, 1962; *Kurpisowa G.* Joachim Lelewel i rosjanie.— Gdańskie zeszyty humanistyczne, 1967; № 6; *Willaume J.* Polacy w powstaniu drezdeńskim 1849 roku.— Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio F. Vol. 15. Lublin, 1963.
11. *Lesniewski A.* Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i powstania styczniowego 1863 roku. Łódź, 1962.
12. *Бакунин М. А.* Собрание сочинений и писем 1828—1876 гг. / Под ред. Ю. Стеклова. Т. I—IV. М., 1934—1935.
13. *Kalembka S.* TDP w latach 1832—1846. Toruń, 1966, s. 252.
14. *Lelewel J.* Polska, dzieje i rzeczy jej. T. XX. Poznań, 1864.
15. *Skowronek J.* Polacy jako partnerzy polityczni na Bałkanach w latach 30—50-tych XIX wieku.— In: Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832—1864). Toruń, 1980, s. 92—93.
16. ЦГАОР СССР, ф. 109, 1 экзп.
17. *Звенья. Т. V. М., 1935, с. 233—246.*
18. *Туrowicz M.* TDP (1832—1863). Przywódcy i kadry członkowskie. Warszawa, 1964.
19. *Dzwonkowski Wł.* Na marginesie monografii o ruchu rewolucyjnym w Królestwie Kongresowym w latach 1835—1845.— Mysł współczesna, 1948, № 11—12, s. 109—110.
20. *Туrowicz M.* Polski kongres polityczny we Wrocławiu w 1848 roku. Kraków, 1946, s. 67.
21. ЦГВИА, ф. 1873, оп. 1, д. 57, ч. 1, л. 172.
22. *Корнилова Е. М. А.* Бакунин в письмах его родных и друзей.— Каторга и ссылка, 1930, № 2, с. 61—80.
23. *Pfitzner J.* Bakuninstudien. Prag, 1932.



ФРЕЙДЕНБЕРГ М. М.

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДУБРОВНИКА: РАГУЗИСТИКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

У этого города два имени — Дубровник и Рагуза, и последнее все чаще встречается в литературе, в том числе и советской. Уже поэтому, а также из-за краткости уместно, на мой взгляд, ввести в научный лексикон термин «рагузистика». Он вполне может заменить собой словосочетание «историография Дубровника».

Дубровник в наши дни изучают тщательно и интенсивно. Это происходит не только потому, что город прожил необыкновенно долгую жизнь, не знал врагов в своих стенах и сохранил нетронутой свою культуру и являет для исследователя яркий образец независимого города-государства. Главное же заключается в том, что архив Дубровника сохранился почти полностью, ныне находится в идеальном порядке и способен дать ответы на очень многие вопросы. Архив изучают историки из Югославии и многих других стран. Вот почему для исследователей истории Дубровника на первый план выступают проблемы источниковедения, а не историографии, и источниковедческая проблематика доминирует в их научных планах¹.

История того, как изучался Дубровник, не очень разработана еще и потому, что количество работ о городе чрезвычайно велико и растет с каждым годом. Список только основных трудов, опубликованных до конца 50-х годов, в третьем томе «Энциклопедии Югославии» (1958), насчитывает свыше 150 названий. В двух выпусках «Югославской историографии» (за 1955—1965 и 1965—1975 гг.) [1] историография Дубровника составляет самостоятельный раздел наряду с такими значительными, как «Средние века» или «Югославские народы под иностранным господством». Поэтому людям, связавшим свою научную судьбу с изучением истории города, важно хотя бы учесть все то, что опубликовано, а зная о новейших изданиях, они уже не нуждаются в историографических оценках.

Жанр историографического обзора не пользуется популярностью у исследователей, работающих над историей Дубровника. Возможно, следует даже говорить о высокой исследовательской (архивоведческой, палеографической, аналитической) культуре тех, кто трудится в этой области, и их относительно низкой историографической заинтересованности. Тем важнее историографические оценки для советских историков, лишенных возможности регулярно пользоваться богатствами дубровницкого архива или даже собирать на своих полках все то, что выходит по истории города. Самые же примечательные сдвиги в послевоенной рагузистике произошли примерно за последние двадцать лет, вот почему этим временем и ограничиваются хронологические рамки данного обзора.

Фрейденберг Марлен Михайлович — д-р ист. наук, заведующий кафедрой Тверского государственного университета.

¹ Это положение не целиком относится к советским историкам. Н. П. Манавчикова, напр имер, с конца 50-х годов стала заниматься историографией города.

В начале 50-х годов в старинном родовом дворце Матрицианского семейства Соркочевичей (Сорго) Югославянская Академия наук и искусств (Загреб) открыла Исторический институт, ныне именуемый Институтом исторических наук Исследовательского центра Югославянской Академии наук и искусств в Дубровнике. С 1952 г. почти ежегодно выходят сборники его трудов [2]. Первые тома были очень массивными, в каждом публиковались 25—30 авторов, чаще всего живущих далеко за пределами города, но тянущихся к городу и его архиву. В 1980 г. (с XVIII тома) в сборнике произошли значительные перемены — к руководству вместо акад. Грги Новака пришел акад. Владимир Стипетич. Изменился облик сборника, он несколько «похудел», стал активно откликаться на события научной жизни, в нем появился отдел рецензий и научной хроники. Сборник все явственнее превращается в центр, связующий специалистов по истории города.

Эта сравнительно небольшая организационная ячейка, «ядро», заметно контрастирует с масштабами остальной, так сказать, внедубровницкой рагузистики. Поток посвященной городу литературы, выходящей за его пределами, на редкость полноводен и имеет тенденцию к постоянному росту. Отметим его крайние точки, образующие, так сказать, «внешнее кольцо». Это обобщающие труды по истории Дубровника, вышедшие в Великобритании [3], США [4], Польше [5], Югославии [6], СССР [7]. Их появление вызвано интересом широких кругов читателей к маленькому городу с необычным прошлым, а то и просто желанием пополнить свои познания перед туристической поездкой. Не будь этого, издательства не рискнули бы выпустить подобные книги для массового рынка. Но характерно, что они принадлежат не популяризаторам, а знатокам, долгие годы проработавшим в науке. Таким образом, их следует рассматривать и как итог развития научной мысли.

Внутри «внешнего кольца», очерченного общими работами, но за пределами публикаций, вошедших в «ядро» рагузистики (т. е. опубликованных в «Анналах»), лежит «среднее кольцо», плотный массив публикаций, которые выходят в разных городах Югославии изданием различных институтов, университетов и академий. Среди них целое море статей, но немало и монографий, которыми, как вехами, размечена рагузистика последних десятилетий. Каждая из них — итог многолетней исследовательской работы, многих летних отпусков, потраченных на сидение в дубровницком архиве; выходу книги в свет, как правило, предшествует публикация статей, позволяющих проследить ход работы исследователя над избранной темой. Самые интересные из монографий отмечены и печатью наибольшего своеобразия.

Так, профессор Белградского университета М. Спремич свое главное исследование посвятил отношениям Дубровника с Неаполитанским королевством во второй половине XV в. [8]. Эта работа вывела его за рамки дубровницкого архива, потребовала привлечения документов из итальянских и испанских архивохранилищ, знакомства с обширной литературой. В центре внимания Спремича оказались все типы связей, соединявших город с самой близкой к нему частью Италии: политические узы, характер привилегий, консульская служба, организация торговли. Бесспорным достоинством книги является то, что она густо «населена» людьми, торговавшими, ссужавшими деньги, представлявшими республику за рубежом. Книга Спремича относится не столько к «событийным», сколько к структурным исследованиям; автора интересуют не перемены, а константы.

В русле того же направления лежит и книга В. Костица «Дубровник и Англия, 1300—1650 гг.» [9], но отношения города с заморским королевством предстают у Костица в значительно большей динамике. Именно так представлены не только судьбы людей, но и движение товаров, перемены в их ассортименте и самой развитие коммерческих связей.

Монография белградской исследовательницы Д. Петрович заметно отличается от предшествующих, ибо построена на базе не одних только письменных, но и материальных источников: Петрович занимается исто-

рией оружия и без музейных экспонатов ей было не обойтись. Она щедро включила этот материал в свое изложение в виде многочисленных фотографий и рисунков. Важно то, что автор не только детально характеризует все виды оружия, изготовлявшиеся в Дубровнике, как будто бы берет их в руки, внимательно рассматривает, показывает зрителям, оценивает их, но и исследует ту роль, которую Дубровник как мощный центр оружейного производства и торговли играл на Балканах (рецензию см. [10]).

Сходным образом, на мой взгляд, построена и работа В. Хан о дубровницком стеклоделии в XIV—XVI вв. [11], но здесь архивная подоснова просматривается значительно более отчетливо — на материальные остатки Хан почти не могла рассчитывать. Правда, в книге приведены фотографии найденных при раскопках чаш, кувшинов, стаканов, но большая часть их находится в обломках, не поддающихся реставрации. Поэтому главная надежда была на архивные находки, и здесь Хан ждал крупный успех. То, что она отыскала, не только составило целый том документов, которые она опубликовала за два года до монографии (около 700 свидетельств) [12], но и явилось подлинным научным открытием. Выяснилось то, о чем историки и не подозревали: в Дубровнике в XV—XVI вв. процветало развитое стекольное производство, бесспорно уступавшее венецианскому, но тем не менее достигшее высокого уровня, а ведь еще в 1951 г. в книге Д. Роллера «Дубровницкие ремесла в XV и XVI вв.» стеклоделию было отведено всего... две страницы. И сборник документов, и исследование В. Хан, что называется, вызвали из небытия полнокровную и разветвленную отрасль в Дубровнике. Хан сумела создать о ней красочное и последовательное повествование. Логично и живо она рассказала о роли стекла в жизни горожан в начале XIV в., о переменах, наступивших в XV в. и, главное, о мастерах-стеклоделах: монахе Петре, положившем начало стекольному производству, его сыне Николае и внуке Бернарде, о мастере Николае Ифковиче. Двести страниц книги Хан вместе со статьями, которые предшествовали ее появлению, дают отличный образец успешного научного поиска.

Иначе, не привлекая археологического материала и не пуждаясь в нем, строит свои работы профессор университета в Любляне И. Войе. Он занят изучением кредитной торговли, которую вело дубровницкое купечество на Балканах. Это давно и хорошо известная тема в истории дубровницкой коммерции. Ни один исследователь не отказывался от использования данных о кредитной торговле, но только Войе сделал их предметом специального и целостного анализа, задавшись целью определить объем этой торговли. Поэтому количественные оценки («квантификация») в этой сфере для него представляли первостепенную ценность ([13], здесь же обширная библиография). Цифры, характеризующие кредитную торговлю, с помощью его исследований теперь твердо установлены, и мы можем ими оперировать достаточно свободно: в распоряжении историков теперь есть и другая книга И. Войе [14]. При этом выяснилось, что масштабы кредитной торговли заметно менялись от десятилетия к десятилетию: торговля и кредит чутко реагировали на политические перемены. Поэтому другим крупным достижением исследователя, на мой взгляд, является открытая им динамика подъемов и спадов. Например, если около 1325 г. ежегодный ввоз товаров в Сербию исчислялся цифрой в 32 тыс. дукатов, то в 1332 г. он составлял 50 тыс., а в 1333 г. — уже 77 тыс. После этого следует резкий спад, вызванный военными действиями, затем — постепенный подъем и после 1420 г. и до начала XVI в. объем товаров, ввозимых дубровчанами в сербские земли, устойчиво держался на уровне 85—100 тыс. дукатов в год. Таков лишь один пример добытых Войе научных результатов.

Нетрудно заметить, что каждая новая монография, на которой мы останавливаемся, поворачивает югославскую рагузистику новой гранью. Чрезвычайно интересны в этом отношении работы профессора из университета в г. Нови Сад Д. Динич-Кнежевич. Первоначально Д. Динич-Кнежевич сосредоточивала внимание на проблемах торговли в XIV в. Год за годом в свет выходили ее обширные статьи, нередко целые малень-

кие монографии, каждая из которых была посвящена отдельной торговой сфере [15]. Как следствие изучения архивных данных этого (и предшествующего) столетия она подготовила книгу о положении женщины в городе в XIII—XIV вв., единственную в своем роде, где на материале архивных данных изучила правовой, хозяйственный и бытовой статус дубровчанок этих столетий и даже их духовную жизнь [16].

В монографии [17] была воссоздана вся структура взаимосвязей города с королевством, под суверенитетом которого Дубровник прожил более полутора столетий (1358—1526). Книга получилась, правда, несколько суховатой, большую часть ее занимает перечень событий и пересказ документов, для изучения она нелегка, но отрицать ее роль в развитии рагузистики нельзя. Самым крупным успехом Динич-Кнежевич стала ее третья за эти годы монография [18].

Динич-Кнежевич шла к ней долго. Она отталкивалась от хорошо известной в литературе деятельности итальянского промышленника Петра Пантелы (из Пьяченцы), открывшего в 1416 г. в Дубровнике большую сукнодельческую мастерскую, первый образец капиталистической мануфактуры. Немногие свидетельства Ф. Диверсиса вместе с данными из архивного фонда «*Diversa cancellariae*» (т. е. не частных актов, а официальных документов коммуны) использовал в свое время Д. Роллер, чтобы воссоздать картину подъема дубровницкого сукноделия. Эта картина выглядела внушительно, но подъем казался каким-то одиноким, без предварительной подготовки и без последствий. Динич-Кнежевич удалось резко изменить эту картину: она довела изучение хода развития сукноделия до прихода турок под стены города (1463) и вышла за пределы прежней источниковой базы. Помимо «*Diversa cancellariae*» она активно использовала и фонд «*Diversa notariae*», т. е. вовлекла в исследование и нотариальные акты, число которых чрезвычайно велико. Приведу один только факт: ей удалось установить, что в Дубровнике меньше, чем за полвека (1416—1463) в сукноделии было занято около 950 человек, в том числе 40 иностранных мастеров и суконщиков. Эти цифры произвели подлинный переворот в представлениях исследователей. Научный метод Динич-Кнежевич может быть сведен к следующему: строгое хронологическое самоограничение — широкий архивный поиск — четкая система, в которую укладываются найденные данные — наконец, сведения всего просопографического материала в списки имен, допускающие подсчеты. Этот метод и позволил историку из Нови Сада добиться внушительных результатов.

Работы Динич-Кнежевич чем-то близки к трудам еще одной исследовательницы дубровницкого архива, Д. Ковачевич-Коич из Сараева: ее занимает история не Дубровника, а континентальных балканских городов. И к архиву она обращается в поисках ответа на вопросы о жизни не Дубровника, а дубровчан, живших в этих городах и образовывавших в них свои колонии. Так появляются работы, в заголовках которых стоит слово «дубровчане». И тем не менее я убежден, что и эти работы мы должны включить в поле своего зрения.

Возьмем, например, статью Ковачевич-Коич о Приштине, маленькую монографию в тридцать страниц [19]. В ней развернута политическая история города и содержатся сведения обо всех дубровчанах, побывавших в нем с 1414 по 1453 г.: число их за каждый год, имена тех, кто прожил дольше других, численность патрициев и простолюдинов, данные об их производственном статусе и порядке самоуправления. Картина выразительная и достаточно полная. Аналогичный характер имеют статьи Ковачевич-Коич и о дубровницкой колонии в Смедереве, о дубровчанах-ремесленниках в средневековой Сребренице, о горном местечке Зворнике и др. Изучение этих центров строится по четко разработанной схеме, куда входит составление картотеки на всех учтенных в актах дубровчан и горожан-боснийцев и последующая классификация этого персонального материала по годам, родам занятий и т. д.

Единообразие исследовательской схемы позволило Ковачевич-Коич создать на материале этих многочисленных локальных штудий общую ра-

боту [20]. В этой книге сопоставления весьма выразительны, убедительно подтверждены цифровым материалом. Так, если в боснийском городе Високом за двадцать лет (1412—1433) побывали 370 дубровчан, то в Зворнике за тот же срок — 640. Если в дубровницкой колонии в Сребренице в 1434 г. жили 474 выходца из Дубровника, то, зная, что население Сребреницы составляло около 3 тыс. человек, нетрудно понять, какой это высокий процент. Таким образом, мы имеем дело с исследованиями, выполненными на высоком профессиональном уровне и почти неотделимыми от собственно дубровницкой историографии. Это еще раз доказывает, насколько близки судьбы города к судьбам остальных стран Балканского полуострова.

Еще в большей степени сказанное относится к работам акад. Б. Храбака. Его научное творчество заслуживает самостоятельной характеристики прежде всего потому, что диапазон научных интересов Храбака необычайно широк — от средневековья до рабочего движения XX в. Еще более удивительно фантастическое трудолюбие академика: в 1980 г., например, он опубликовал семнадцать статей общим объемом около 480 страниц и монографию в 255 страниц. Штудии, основанные на изучении дубровницкого архива, составляют заметную долю в этом внушительном научном багаже и бесспорно требуют специального разбора. Мы идем на сознательное самоограничение, избрав из множества опубликованных работ только одну — статью «Дубровчане в горном деле и импортно-экспортной торговле Косова в 1455—1700 гг.» [21], ибо наша цель — показать научный метод Храбака.

По существу это настоящая монография из 130 страниц, разбитая на десять глав. Храбак не ограничился материалами одного лишь архива, он самым активным образом использовал обширную литературу, не пропустив ни старых, ни новых работ. В сферу рассмотрения автора вошли и очерк истории горного дела в Косове до конца XVII в. вместе с техническими характеристиками, и повествование о людях, десятилетие за десятилетием вкладывавших свои силы в разработку горных богатств, и перечень трудностей, которые испытывали средневековые рудокопы, и вложенные ими капиталы. Возможно, не все стороны деятельности дубровчан в разработке полезных ископаемых в этом крае даны в легко усваиваемой форме. Текст статьи представляет собой пересказ множества документов, извлеченных автором из архива и публикаций, приведенных в систему и сопровождаемых наблюдениями по ходу изложения. Работа завершается строго и компактно изложенными выводами о деятельности дубровчан на косовских рудниках.

Но вернемся к судьбам рассматриваемой нами научной дисциплины в наши дни. Дубровницкая историография живет интенсивной жизнью, в ней осязимо заметны перемены, спады, чередующиеся с подъемами, новые тенденции развития. Бросается в глаза то, что уже не прослеживается воздействие тех образцов, которые были столь привлекательны в 50-е и 60-е годы. Так, некоторые историки в свое время последовали примеру И. Божича, опубликовавшего в 1952 г. превосходную монографию «Дубровник и Турция в XIV и XV вв.». Под воздействием этой работы В. Винавер издал книгу об отношениях города с османами в XVIII в. [22], Р. Самарджич — в XVII в. [23], Т. Попович — в XVI в. [24]. На книжных полках у специалистов выстроилась целая серия в чем-то сходных, в чем-то разнящихся монографий. Но к середине 70-х годов тема оказалась исчерпанной, и исследователи обратили свои усилия по другим адресам.

Практически исчез интерес к истории деревни. Сейчас мы уже не встретим в литературе ничего подобного обширной книге Д. Роллера об аграрных отношениях в дубровницкой округе в XIII—XV вв. [25], в свое время поразившей читателей обилием собранного и переработанного материала. Нет ни монографий, ни статей по истории крестьянства, а если появляется нечто близкое к этой теме (например, у Й. Лучича) [26], то лишь потому, что автор задался целью не пропустить ни одной проблемы истории Дубровника, а не потому, что аграрная проблематика — вопросы собственности, движения ренты или социальной стратификации крестьян

яинства — интересовали его специально. Деревня по-настоящему привлекает исследователей лишь как объект этнографического изучения, и не более.

В рагузистике последних лет сместились и хронологические акценты. Исчез, например, интерес к раннему периоду жизни города, который когда-то заставил Г. Новака и Й. Лучича написать пространные очерки его истории до 1205 г., до перехода под власть Венеции [2, 1976, год. XIII—XIV, prilozi, s. 1—132]. Да и само появление этих очерков по существу означало, что тема исчерпана для исследования. После обстоятельных штудий Й. Лучича ослабло внимание к XIII в. и сам Лучич перешел к истории XIV в. Некогда привлекательным временем считались XV и XVI столетия. У тех, кто изучал либо ремесленное производство (Д. Роллер, Ц. Фискович), либо военное строительство (Л. Беритич), либо историю мореходства (Й. Луетич) в активе есть немало работ по этим векам. Сейчас положение изменилось и здесь. Историками овладела «страсть» к изучению последних десятилетий жизни республики, к концу XVIII и началу XIX в. Их интересуют дипломатические и консульские связи республики со всем Средиземноморьем (И. Митич), деятельность дубровницких купцов и мореходов (В. Иванчевич), социальный и производственный статус моряков (Драган Живоинович), отношения республики с американскими колониями, боровшимися за независимость (Драголюб Живоинович), судьбы республики в последние годы ее существования и политика патрициата (американская исследовательница Х. Беловучич). Этот взрыв интереса порожден и обилием материала, долго бывшего неиспользованным, и вниманием к проблемам Нового времени в югославской историографии, и возможностью подвергнуть изучению сферу межгосударственных и межэтнических связей. Недаром югославские историки с увлечением исследуют область русско-дубровницких отношений, причем особенно интенсивно именно в последние годы (В. Иванчевич).

Расширился интерес к прошлому города и у широкой общественности. В самом Дубровнике, подобно «Задарской реви» («Zadarska revija») или сплитским «Могучностям» («Mogućnosti») продолжает выходить ежемесячный журнал «Дубровник». На его страницах время от времени можно встретить серьезные научные публикации (так, именно здесь в 1973 г. И. Божич опубликовал свой перевод классического трактата XV в. Филиппа Диверсиса о Дубровнике). Но, к сожалению, судить о том, насколько часто журнал печатает исторические материалы, мы не можем: в СССР журнал не поступает в личные библиотеки, а ИНИОН АН СССР имеет лишь разрозненные выпуски².

Свидетельством внимания широких читательских кругов к прошлому Дубровника является появление в 1969 г. нового журнала «Дубровницкие горизонты» («Dubrovački horizonti») [27]. Его основателем и бессменным редактором является проф. Й. Лучич из Загреба, известный как организатор науки и редактор «Трудов», регулярно выпускаемых Институтом хорватской истории в Загребе. Журнал возник как центр, связующий дубровчан, уехавших из родного города и ныне рассеянных за его пределами, он имеет подзаголовок «Журнал Общества дубровчан и друзей дубровницкой старины в Загребе» и в известной мере существует благодаря их пожертвованиям. Содержание журнала пестро — здесь и стихи, и эссе, и воспоминания, и некрологи, но исторические очерки никогда не исчезают с его страниц. Пусть они часто лишены научного аппарата, но бесспорно отражают уровень исследовательской мысли, достигнутый хорватскими учеными. Показателен рост объема журнала: если первые выпуски не превышали пятидесяти страниц, то последние достигают уже 260—280.

Й. Лучич неустанно работает и как исследователь, и его метод представляется весьма примечательным. Лучич сосредоточил усилия на изучении XIII в., когда в Дубровнике впервые появились массовые источ-

² Правда, по отдельным выпускам можно судить о том, что такие материалы все же публикуются. Например, в № 4 за 1979 г. помещены статьи М. Нодари-Крстель о жилом доме XV—XVI вв. и М. Демовича об иностранных музыкантах в городе.

ники — нотариальные акты. Он исследует памятники этого столетия, идя по всему фронту сохранившихся текстов, не оставляя без внимания ни одного источника. Выяснилось при этом, что многие тексты либо мало известны, либо не изучены вообще, либо не опубликованы. Лучич проделал всю необходимую работу, и главный журнал хорватских архивистов — «Архивски виесник» из года в год публикует найденные им или еще не введенные в научный оборот тексты.

Итогом изучения памятников XIII в. явилась исследовательская работа о торговле и ремеслах. Появилась на свет серия статей об отношениях Дубровника с городами Далмации, Италии, остального Средиземноморья, за которой последовала обобщающая работа более высокого порядка (см. [28]). Й. Лучич написал и обширную монографию по истории ремесел в Дубровнике в XIII в. [29].

Работая над ней, Лучич отказался от метода сплошного и утомительного пересказа источников. Он строго и целенаправленно классифицировал извлеченные из нотариальных актов данные о социальной принадлежности, имущественном статусе и, главное, о профессии дубровчан, проходящих по актам, получив в итоге основания для убедительных подсчетов. Правда, перед этим Лучич должен был задаться принципиальным вопросом: в какой мере нотариальные акты, составившиеся от случая к случаю, отражают подлинную картину городского общества? Эти вопросы в свое время ставились и советскими историками [30], и мне приятно отметить, что в обоих случаях ответ оказался в равной степени позитивным. Внимательно изучив нотариальные и канцелярские документы Дубровницкой коммуны, Лучич не оставил их без дополнительной публикации — он выпустил в свет книгу документов городской канцелярии в качестве второго тома серии, в свое время начатой еще Г. Чремошником.

Наше внимание к работам Й. Лучича оправдано несколькими соображениями. Дело в том, что он не только знаток архивов и серьезный исследователь, но и ученый, создающий широкую картину исторической действительности, системную характеристику прошлого, будь то область городских ремесел или хозяйства в пригородной зоне (близ Дубровника такая зона называлась Астареей).

Многосторонность и склонность к системному анализу, отличающие Й. Лучича, было бы интересно сопоставить с методами работы других хорватских историков, особенно старшего поколения. Многим из последних свойственны чрезмерная специализация, склонность замкнуться в рамки узкого круга проблем — известный результат своеобразного «разделения труда». Например, Л. Беритич занимался только историей дубровницкого градостроительства и возведения фортификационных сооружений; В. Иванчевич изучает историю мореходства в XVIII — начале XIX в.; Й. Луевича привлекает перспектива дать общую характеристику дубровницкого судоходства. Меньшей узостью отличается исследовательская позиция И. Митича — первоначально он изучал историю городских консулатов, рассеянных по всему Средиземноморью, а позднее перешел к исследованию всего комплекса морских связей Дубровника. Характерна в этом смысле позиция историков искусства. Например, акад. Цвито Фискович — знаток культурных ценностей, и в то же время он умеет и любит работать в архивах, отыскивать биографические данные и воссоздавать жизненный путь мастеров.

Не всем это удается. В 1980 г. в свет вышел солидный двухтомный труд старейшего дубровницкого историка, бывшего директора архива В. Форетича [6]. Отличное знание архивных богатств позволило Форетичу отыскать и ввести в оборот массу интересных материалов. Однако он относится почти исключительно к событийной истории. Когда же читатель пытается отыскать в книге характеристику внутренней жизни города, он в лучшем случае находит повторяющиеся главы «Аграрные отношения» или «Хозяйственное развитие» до такого-то года, о социальном же развитии упоминаний нет вообще.

Еще одна черта, которую также не причислишь к достоинствам и которая, к сожалению, нередко присуща югославской рагузистике. Это из-

вестное невнимание к работам своих коллег и, как следствие, неумение (или нежелание) в должной мере оценить результаты их трудов. Любопытно, что новые работы не остаются незамеченными — критико-библиографические разделы в журналах не пустуют. Но рецензиями в подлинном смысле слова эти отзывы, как правило, не являются. Это чаще всего развернутые аннотации с несколькими третьестепенными замечаниями, высказанными под занавес. Принципиальное рассмотрение, разбор концепции, методики анализа, хода рассуждений автора отсутствует даже по отношению к монографиям, не говоря уже о статьях. Эту слабость исторической критики нетрудно сопоставить с отсутствием интереса к историографическим работам по истории Дубровника.

Другой недочет носит трудно объяснимый характер — это отказ от ссылок на работы коллег. Не раз и не два приходилось замечать, как не цитируются и не упоминаются (ни в тексте, ни в примечаниях) труды, прямо относящиеся к рассматриваемому сюжету. С огорчением приходится констатировать это и по отношению к работам советских историков. Стилль этот родился не вчера, но только за последние годы он принял распространенный характер. Еще около 10—12 лет назад один из самых заслуженных хорватских медиевистов — Н. Клаич, выражая несогласие со мной, тем не менее добросовестно упоминала и пересказывала содержание моих работ по истории Задара [31]. Сейчас подобная манера, увы, уже почти не встречается. Подобное отношение имеет место как внутри отдельных научных направлений (школ), так и между ними. Об этих направлениях следует сказать особо.

В рагузистике можно выделить существование двух крупных школ, которые условно можно назвать загребской и белградской. Первая не имеет ярко выраженного истока. Правда, хорватская наука знает имена видных урбанистов, например, акад. М. Мирковича, президента Югославянской академии Г. Новака или Н. Клаич, но их усилия ориентированы на изучение не Дубровника, а других далматинских городов — Сплита, Задара. У белградских историков такие учителя есть, можно назвать и М. Динича и, конечно, акад. Й. Тадича — личности, оставившей по себе самую добрую память и при жизни бесспорно уважаемой. Его творческой манере присуща явная неординарность. Одним из первых он взялся за изучение внутренней организации дубровницкого мореходства, избрав для этого период расцвета — XVI в. Он исследовал систему судостроения, водоизмещение флота, оплату судостроителей и моряков, порядок найма последних и т. д. Характерно, что выводы Тадича не были ни превзойдены, ни пересмотрены в современной науке и самым знающим хорватским знатокам мореходства Й. Луeticем. Одним из первых Тадич обратился к данным дубровницкой таможни, используя их для определения масштабов дубровницкой торговли. Оригинальным оказался подход Тадича и к проблеме Дубровницкой экономики в целом. Много лет проработав над изучением истории торговли и позволив себе обойтись без научного аппарата, он обосновал мысль о том, что ежегодный вывоз балканских товаров через Дубровник может быть оценен в 250 тыс. дукатов [32].

Выводы Тадича, его творческий метод и сфера научных интересов заметно воздействовали на исследователей. Так, С. Чиркович интерпретировал мысль Тадича об объеме товаров, провозимых через город, и установил при помощи данных, фиксированных дубровниками таможенниками, что в первой четверти XV в. в Сербии и Боснии добывалось никак не меньше 12 т серебра в год (для сравнения: в Чехии — 6,5 т) [33]. В исследованиях В. Винавера по истории денег и цен на Балканах, может быть, и нет прямой связи с заключениями Тадича, но интерес к этой области экономики роднит обоих ученых. И когда В. Винавер исследует денежное обращение в Дубровнике и на Балканах [34], то это еще раз подтверждает отличительную черту белградской школы рагузистов. Мы вправе также заключить, что эту школу отличает интерес к применению новейших, в том числе и количественных, методов изучения хозяйственной эволюции Дубровника.

Ничего подобного этим двум направлениям за пределами югославской

науки нет, но, конечно, Дубровник изучают не только в Югославии. Например, для польских или советских ученых история города — основа для обобщающих (или научно-популярных) книг, для других — продолжение работ по истории Европы. Третьи основываются на дубровницком или турецких архивах, как это сделали в свое время И. Манкен из Саарбрюкена в своей двухтомной работе о дубровницком патрициате или голландский историк Х. Н. Бигман [35], четвертые изучают связи своей страны с Дубровником, как это делают болгарские историки Е. Вечева или Й. Списаревска [36].

Так сложилось, что рагузистикой в СССР занимаются не в центре, а в двух периферийных университетах. На протяжении многих лет над историей Дубровника работает воронежская исследовательница Н. П. Мананчикова. В поле ее зрения оказались вопросы историографии города, численности ремесленников и организации ремесла, ранней мануфактуры, аграрных отношений, коммерческих связей. Ей удалось решить ряд проблем истории сельской жизни в окрестностях города, духовного развития горожан, обрисовать жизнь города в научно-популярных очерках [37]. Базой для этих исследований послужили данные XIII—XV вв., времени подъема и укрепления Дубровника. Для коллектива тверских историков характерен интерес или к обобщающим трудам по всей истории города [7], или о конце XVIII — начале XIX в., точнее, к русско-дубровницким отношениям кануна унадка республики. Последняя тема в исследовательском плане особенно перспективна — она позволяет вовлечь в работу материалы архива русского консульства в Дубровнике XIX в. [38]. Открывается возможность развить на дубровницком материале тему русско-югославянских связей, столь интересующую в наши дни общественность обеих стран. Отметим также, что советским историкам свойственно стремление критически откликаться на выходящие в Югославии работы.

Проблемы истории Дубровника часто становятся предметом обсуждения в международных собраниях. Памятны торжества 1978 г., когда отмечалось 700-летие Дубровницкого архива, завершившиеся выпуском специального сборника [39] — югославские исследователи следуют хорошей традиции издавать материалы по следам конференций. Одно из последних собраний такого рода — международный симпозиум «Марин Држич и золотой век Дубровника» (август 1989 г.). В нем приняли участие более тридцати исследователей из Югославии, США, СССР, Италии, Англии, ФРГ, Австрии, Польши и Венгрии, в основном литературоведы, театроведы, филологи. Прекрасно спланированный и проведенный (его организаторами были профессора С. Новак из Загреба и И. Банац из Иельского университета в США), симпозиум стал событием и в общественной жизни Югославии, его работу регулярно освещали газеты, радио и телевидение, а заседания посещало множество слушателей. Жаль лишь, что доклады не сопровождались дискуссией ни на одном заседании (она даже не была предусмотрена).

Успехи научного направления, в русле которого изучается история Дубровника, несомненны; продолжает активно расширяться круг исследователей, преобразуется тематика, меняется методика исследований: мера и число все чаще фигурируют в качестве итога научной работы. Разумеется, успехи рагузистики зависят в первую очередь от интенсивности, с которой изучается питающий ее родник — Дубровницкий архив, и в этой связи остается лишь пожалеть, что советские слависты до последнего времени располагали столь малыми возможностями для работы в нем. Всем известно, как трудно было до последнего времени получить сколько-нибудь длительную заграничную командировку. Но это, как говорится, тема, уже выходящая за пределы данной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Historiographie Yugoslave 1955—1965. Beograd, 1965, p. 201—220; The historiography of Yugoslavia 1965—1975. Belgrade, 1975, p. 186—196.
2. Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.

3. *Carter F. W.* Dubrovnik (Raguse), a classical city-state. London, 1972.
4. *Krekić B.* Dubrovnik in the 14th and 15th centuries: a city between East and West. Norman, 1973.
5. *Rapačka J.* Rzeczpospolita Dubrownika. Warszawa, 1977.
6. *Foretić V.* Povijest Dubrovnika do 1808. godine. D. 1—2. Zagreb, 1980.
7. *Фрејденберг М. М.* Дубровник и Османская империя. М., 1984.
8. *Спремић М.* Дубровник и Арагонци 1442—1495. Београд, 1971.
9. *Костић В.* Дубровник и Енглеска 1300—1650. Београд, 1975.
10. Советская археология, 1983, № 1.
11. *Хан В.* Три века дубровачког стакларства (XIV—XVI век). Београд, 1981.
12. Архивска грађа о стаклу и стакларству у Дубровнику (XIV—XVI век). Сабрала и уредила В. Хан. Београд, 1979.
13. *Voje I.* Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik).— Osterreichische Osthefte. Wien, 1985, Jahrgang 27. S. 283—299.
14. *Воје И.* Кредитна трговина у средњовековном Дубровнику. Сарајево, 1976.
15. *Dinić-Knežević D.* Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku.— Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (далеко GFfNS), 1966, knj. IX, s. 39—85; *Dinić-Knežević D.* Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku.— GFfNS, 1967, kn. X, s. 79—131; *Dinić-Knežević D.* Trgovina uljem u Dubrovniku u XIV veku.— Historijski zbornik. Zagreb, 1972, god. XXIII—XXIV, s. 287—306.
16. *Динић-Кнежевић Д.* Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV веку. Београд, 1974.
17. *Dinić-Knežević D.* Dubrovnik i Ugarska u srednjem veku. Novi Sad, 1984.
18. *Динић-Кнежевић Д.* Тканине у привреди средњовековног Дубровника. Београд, 1982.
19. *Ковачевић-Кojiћ Д.* Приштина у средњем веку.— Историјски часопис. Београд, 1975, књ. XXII, с. 45—74.
20. *Ковачевић-Кojiћ Д.* Градска насеља средњовековне босанске државе. Сарајево, 1978.
21. *Храбак Б.* Дубровчани у рударству и увозно-извозној трговини Косова 1455—1700.— Врашки гласник, 1984, кн. XVII.
22. *Винавер В.* Дубровник и Турска у XVIII веку. Београд, 1960.
23. *Самјрџић Р.* Велики век Дубровника. Београд, 1962.
24. *Поповић Т.* Турска и Дубровник у XVI веку. Београд, 1974.
25. *Roller D.* Agrarno-proizvodni odnosi na području Dubrovačke republike. Zagreb, 1955.
26. *Lučić J.* Documenti o počecima kmetstva u Dubrovniku.— Arhivski vjesnik. Zagreb, 1962, sv. 4—5, s. 213—222; *Lučić J.* Prošlost Dubrovačke Astaraje. Dubrovnik, 1970.
27. Dubrovački horizonti. Časopis društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu.
28. *Фрејденберг М. М.* Проблемы ранней истории Дубровника в новейшей югославской историографии.— Советское славяноведение, 1979, № 2, с. 48—54.
29. *Lučić J.* Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća. Zagreb, 1979.
30. *Фрејденберг М. М.* Ремесло в Трогире в XIII в.— Уч. зап. Великолуцкого гос. пед. ин-та, № 24, 1964, с. 128—131.
31. *Klaić N., Petricoli I.* Zadar u srednjem vijeku do 1409. Zadar, 1976, s. 215, 226, 230, 336, 381, 425, 458, 464.
32. *Тодић Ј.* Привреда Дубровника и српске земље у првој половини XV века.— Зборник Филозофског факултета у Београду, кн. X—I, 1968, с. 519—539.
33. *Čirković S.* The production of gold, silver and copper in the central parts of the Balkans from the 13th to the 16th century.— In: Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart, 1981, Bd. 2, S. 41—69.
34. *Винавер В.* Преглед историје новца у југословенским земљама (XVI—XVIII век). Београд, 1970.
35. *Манкен И.* Дубровачки патрицијат у XIV веку. Београд, 1960; *Biegman N. H.* The Turco-Ragusan relationship (according to the firmans of Murad III 1575/1595 extant in the State archive of Dubrovnik). Hague — Paris, 1967.
36. *Вечева Е.* Трговијата на Дубровник с бугарските земи (XVI—XVIII в.). Софија, 1982; *Списарева Ј.* Дубровничката колонија в Софија през XV—XVI в. според новооткритите документи.— В кн.: Из историјата на трговијата в бугарските земи през XV—XIX в. Софија, 1978.
37. *Мананчиќова И. П.* К вопросу о ранней мануфактуре в Дубровнике XV века.— Советское славяноведение, 1980, № 6, с. 51—65; *Мананчиќова И. П.* Средневековый Дубровник.— Вопросы истории, 1981, № 10.
38. *Фрејденберг М. М.* Русский консул в Дубровнике в конце XVIII века.— В кн.: Југословенске земље и Русија у XVIII веку. Београд, 1986, с. 169—186; *Луцићина Н. А.* Дубровник конца XVIII в. глазами русского дипломата.— В кн.: Общество и государство на Балканах в средние века. Калинин, 1985; *Луцићина Н. А. П. А.* Ровинский о русском консульстве в Дубровнике.— В кн.: Павел Аполлонович Ровинский (1831—1916) и его время. Калинин, 1988.
39. Zbornik Historijskog arhiva u Dubrovniku.— Arhivist. God. XXIX. Zagreb, 1979, v. 1—2.



ИЗ ИСТОРИИ ИТАЛЬЯНО-ПОЛЬСКО- ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ XVI—XVIII ВЕКОВ

Культура польского Ренессанса находилась под особым вдохновляющим воздействием Италии. В орбите итальянской литературы развивалась и польская литература XVI в. Поэтом, наиболее многим обязанным Италии, хотя и не обнаруживавшим этого, был Ян Кохановский (1530—1584). Однако уже ровесник и друг поэта Лукаш Гурницкий (1527—1603) отнюдь не скрывал своих итальянских симпатий. Даже Миколай Рей (1505—1569), который в Италии не был и считался ярим приверженцем польских традиций, неоднократно обращался к итальянскому творчеству. Благодаря таким писателям расцвет эпохи польского Ренессанса, приходящийся в литературе где-то на 1540—1580 гг., обычно отождествляется с особенно плодотворным влиянием итальянской литературы.

Хотя трудно с этим не согласиться, невозможно также не заметить, что лишь следующее 40-летие оказалось «периодом наивысшего успеха итальянской литературы в Польше до ее разделов» [1]. В 1580—1620 гг., на рубеже Ренессанса и Барокко, итальянской литературе предстояло сыграть в Польше особую роль. Она стала тогда, благодаря как своему содержанию, так и форме, важным стимулом преобразований, устремленных к новой эпохе. Ее важное значение можно наблюдать в разных областях, составляющих широко понимаемую рецепцию. Наиболее отчетливо, однако, оно обозначилось в сфере переводов, на которых мы хотели бы остановиться в этой статье¹. Переводов итальянской литературы в Польше уже в период расцвета Ренессанса было достаточно. Упомянем лишь три, из них самые известные. Кохановский заимствует сюжет своих героико-комических «Шахмат» (1564—1565) из латинской поэмы Марка Джироламо Види (1485—1566) «Шахматная игра» («Scacchia ludus», 1527). Рей создал свое «Подлинное изображение жизни достойного человека» (1558), используя латинское произведение Анджели Мандзоли, называемого Палингением (около 1500 — около 1543), «Зодиак жизни» («Zodiacus vitae», 1528—1534), а Гурницкий в своем «Польском придворном» (1566) перенес на польскую почву «Книгу придворного» («Li libro del cortegiano», 1528) Бальдассаре Кастильоне (1478—1529). Эти произведения выдающихся писателей эпохи, являющиеся свободными переложениями довольно отдаленных по времени итальянских оригиналов, в большей части еще латинских, не снискали заметного успеха.

Ситуация, однако, заметно изменилась на рубеже Ренессанса и Барокко. Количество переводов тогда значительно увеличилось. Выполняли их также авторы менее известные или занимающиеся только переводами.

Ян Сляский — д-р филол. наук, доцент Варшавского университета.

¹ О значении переводов итальянской литературы в Польше на рубеже Ренессанса и Барокко ср. [2].

Зачастую они переводили на польский язык произведения близкие по времени и италоязычные, реже подвергая оригиналы существенной переработке. Переводы интересующего нас периода часто пользовались значительным успехом как в польских землях, так и за их пределами, особенно же в восточнославянском ареале.

На судьбах трех таких польских переводов итальянской литературы, выполненных именно в этот период, мы остановимся здесь более подробно, ибо их история в указанном ареале особенно интересна.

Кардинал Цезарь Бароний (1538—1607) был одним из наиболее активных поборников римской Контрреформации. Его деятельность связана с папской курией, его перо было поставлено на службу послетридентскому католицизму. Из написанного им наибольшее значение приобрели «Церковные анналы» («*Annales ecclesiastici*», 1588—1607). Этот обширный двенадцатитомный латинский компендиум, охватывающий историю католической церкви от возникновения до 1498 г., был встречен с энтузиазмом, ибо Бароний широко использовал ранее не известные источники и документы, не преминув снабдить свою компиляцию пассажами, направленными против протестантизма. Благодаря этому в труде, столь отвечающем потребностям момента, он сумел сочетать научные притязания с апологетико-полемической направленностью.

Труд Барония перенес на польскую почву Петр Скарга (1536—1612), иезуитский приверженец польской Контрреформации². В первое издание своей «Истории Церкви» («*Rocznuch dziejów kościelnych*», 1603) Скарга включил только десять томов оригинала, доведенных до 1000 г., во второе, увидевшее свет после смерти Барония (1607), — уже все тома полностью [6]. Следовательно, польский современник Барония работал напряженно, немедленно пополняя свой вариант по мере появления очередных фолиантов оригинала. Благодаря быстрой реакции на римские новости, первое польское издание еще успело дойти до итальянского автора и даже получило его вежливый отклик³. Скарга, конечно, сохранил столь близкий Контрреформации дидактико-утилитарный подход к истории, он придерживался и хронологическо-летописной системы, присущей труду Барония. Однако в процессе перевода он осуществил значительные сокращения подлинника, опуская то целые годы, не отмеченные чем-либо выдающимся, то лишь несущественные события, то значительно сокращая в оригинале частые и пространные цитаты из источников.

Эта урезанная, но зато «одетая в польские одежды» «История Церкви» вытеснила латинские «*Annales ecclesiastici*», став источником сюжетных мотивов для иезуитской драматургии [8]. Однако существование только двух изданий (а следовательно отсутствие последующих переизданий), вероятно, свидетельствует о том, что популярность труда в Польше снижалась одновременно с закатом Контрреформации. Подлинную известность Скарге принесли прежде всего компилятивные «Жития святых» («*Zywoty świętych*» 1579 г. и многочисленные последующие издания, вплоть до нашего столетия) и затем «Сеймовые проповеди» («*Kazania sejmowe*», 1597), глубоко связанные с польской действительностью на протяжении более трех веков. Этот недолгий и небольшой успех «Истории Церкви» компенсировался живым интересом к ней в славянском мире, причем среди исповедующих православие, против которого как раз и выступал активно проявлявший себя в вопросах Брестской унии иезуит.

Джованни Ботеро (1544—1617), в молодости связанный с иезуитами, вскоре оказался с ними в конфликте, после чего занялся чиновно-дипломатической службой в папском Риме и при североитальянских дворах, лишь в самом конце жизни примирившись с орденом. Из его писательского наследия два произведения пользовались наибольшей известностью:

² Среди монографий, посвященных Петру Скарге, наибольшую ценность для зарубежного читателя имеют две — французская [3] и польская [4]. Недавно опубликовано также исследование о скарговской переработке труда Барония [5].

³ Это письмо Скарга опубликовал в конце предисловия ко второму изданию «Истории Церкви» (см. [5, с. 31]). В Библиотеке Ватикана в Риме находится экземпляр первого издания, вероятно, полученный Баронием от самого Скарги [7].

политический трактат «Об интересах государства» («Della ragion di stato», 1589), развивающий теорию «государственных интересов» в ответ на рассуждения Маккиавелли, а также «Универсальные сведения» («Relazioni universali», 1591—1596). Последний труд, являющийся компендиумом по всеобщей географии, насыщенный разного рода любопытными подробностями путеводитель по современному миру, перенес на польскую почву Павел Ленчицкий (1572—1642), бернардинец, который во время своего двухкратного пребывания в Риме (1600, 1604), в частности, изучал итальянский язык и собирал библиотеку⁴.

Переводчик работал в необычных условиях. В качестве капеллана он участвовал в польском посольстве, которое вместе с Мариной Мнишек направилось к Лжедмитрию; хотя после убийства царя и разгрома поляков он остался в живых, но более двух лет находился в московском плену (1606—1608). Это время — не имея возможности нормально исполнять пастырскую службу, а также вести миссионерскую деятельность среди православных — он коротал (как сам сообщил в посвящении) за переводческими занятиями. У Ленчицкого, вероятно, был при себе оригинал Ботеро и он, по-видимому, неплохо знал итальянский язык, если смог, находясь в изоляции, завершить свой перевод. Ведь спустя всего несколько месяцев после возвращения переводчика в страну он был опубликован под названием «Универсальные сведения, или всеобщие известия» («Relacje powszechnie abo powinu spopolite...», 1609 [11]), вскоре переиздан (1613), а ровно через полвека после первого издания вышло **третье** издание (1659)⁵. Следовательно, Ботеро мог даже держать в руках первые два польских издания своих «Relazioni universali».

Ленчицкий стремился к возможно более верной передаче первоисточника (в соответствии с уведомлением, помещенным на титульном листе), хотя и не воспроизводил оригинал механически слово в слово. Лишь в разделы, посвященные Польше и ее ближайшим соседям, в том числе Руси, при описании которой Ботеро опирался, в частности, на донесения императорского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна (1486—1566) — автора одного из самых ранних в Западной Европе описаний Руси «Записки о Московии» («Rerum Moscovitarum Commentarii», 1549) — и особенно папского дипломата иезуита Антонио Поссевино (1534—1611) [13], он чаще вносил изменения, исправляя ошибочные сведения, включая собственные дополнения, почерпнутые из личного опыта, и свои комментарии, продиктованные эмоциями. Переработанный таким образом на польском языке этот труд впервые в столь широком масштабе представлял разнообразную информацию о современности в течение свыше полувека, пока не утратил своей актуальности и не вытеснился в Польше более новыми компендиумами, соответствующими другим, более поздним временам.

Торквато Тассо (1544—1595) был выдающимся поэтом позднего итальянского Ренессанса, чья жизнь и творчество отмечены всеми признаками переходного периода, перелома к Барокко. Его самое известное сочинение «Освобожденный Иерусалим» («La Gerusalemme liberata»), писавшееся в основном в 1565—1575 гг., а опубликованное в 1580—1581 гг., связано с событиями первого крестового похода и опиралось на многовековую историю героического эпоса. При этом Тассо внес в эпико-повествовательную основу лирические и драматические элементы, создав благодаря этому оригинальное произведение, величие которого — хотя и не без оговорок и споров — отметили уже современники, по достоинству же оно было оценено, пожалуй, лишь в эпоху Романтизма.

Польский перевод поэмы, состоящей из двадцати песен, написанных октавами, сделал необычайно одаренный Петр Кохановский (1566—

⁴ Исследование о выполненном Ленчицким переводе географического компендиума Ботеро вышло в свет недавно [9]. Биографию Ленчицкого написал Я. Тазбир (см. [10]).

⁵ Два следующих издания вышли также в Кракове, причем последнее — уже под измененным названием «Театр всего мира» («Teatrum świata wszystkiego /.../»). (Ср. также [12]).

1620), племянник великого Яна. Он готовился к этому огромному начинанию во время нескольких путешествий в Италию, много читал, углублялся в отечественную литературную традицию⁶. «Готфред, или освобожденный Иерусалим» («Goffred abo Jeruzalem wyzwolona» — так назвал свое произведение переводчик — был напечатан в 1618 г. [16], в течение XVII в. еще дважды переиздавался (1651, 1687)⁷. Этот перевод, четвертый в Европе после испанского, французского и английского, со временем был сочтен конгениальным, и его автор удостоился звания короля польских переводчиков («Rex interpretum Polonorum»). И действительно, польский «Готфред» стал тем редкостным явлением, которое было объектом постоянно живого и многостороннего восприятия, вплоть до заката романтизма, отмеченного во второй половине XIX столетия индивидуальностью Циприана Норвида (1821—1883). Таким образом, этот шедевр Тассо, перенесенный на польскую почву позже трех упомянутых переводов и уже после смерти итальянского поэта, дольше всех оставался в живом литературном обращении⁸.

Итак, из многочисленных плодов переводческого искусства рубежа Ренессанса и Барокко мы выбрали три польских перевода из итальянской литературы, опубликованных в 1603—1618 гг. Они представляют разнообразные литературные жанры, латино- и италиязычные произведения, прозу и поэзию, трактаты и эпiku, труды светские и служащие католической церкви, сочинения, обращенные в прошлое и отражающие настоящее. Несмотря на эти различия, их многое связывает, ибо все они — как в содержании, так и в форме — отмечены явными признаками породившего их времени, глубоко пронизаны теми тенденциями, которые доминировали на данном рубеже. Все они были быстро перенесены на польскую почву, как бы в силу своей актуальности. Наконец, их живое восприятие в Польше длилось долгое время после первого издания. Однако самое важное для нас здесь в том, что все эти три перевода, опубликованные в течение всего 15 лет и распространившиеся благодаря переизданиям, попали и в восточнославянский ареал, встретив там действительно необычайный прием.

Их успех — а именно о нем, как мы увидим, пожалуй, можно в этом случае говорить — особенно очевиден при учете трех обстоятельств.

1. Экземпляры указанных польских переводов из итальянской литературы хранились, причем отнюдь не спорадически, в местных библиотеках⁹. О том, что это были не случайные приобретения, свидетельствуют как документы о приобретении книг, так и наличие повторяющихся произведений в разных библиотеках или даже дубликатов в одних и тех же коллекциях (хотя наши сегодняшние знания о составе и принципах комплектования старинных книгохранилищ нередко фрагментарны). Чтение же предполагало знание польского языка, достаточно распространенное в восточнославянском ареале, особенно среди государственной, церковной и ученой элиты в XVII в. и в начале следующего столетия.

2. Польские переводы — а не итальянские оригиналы — в свою очередь полностью либо частично подвергались дальнейшей переводческой обработке с целью сделать их доступными для широких читательских кругов¹⁰. Такие переделки не были в тогдашней переводческой практике

⁶ Этот перевод исследуется в замечательной монографии [14], о достоинствах которой свидетельствует тот факт, что ее второе — спустя полвека — издание (Вроцлав, 1973), «переработанное и дополненное» автором, потребовало лишь незначительных изменений. Это новаторское на польской почве исследование представляет собой не превзойденный до сегодняшнего дня образец анализа литературного перевода. Ценные исследования о переводе и о его рецепции содержатся и в коллективном труде [15].

⁷ Эти издания вышли тоже в Кракове. Ср. также [17].

⁸ Петр Кухановский перевел и поэму «Неистовый Роланд» (1532) Людовико Ариосто (1474—1533), однако, этот перевод почти два столетия оставался в рукописи. Опубликованный — не полностью — в 1799 г., он получил признание лишь у писателей-романтиков.

⁹ Ценную информацию о наличии польских книг в старинных российских библиотеках представил С. П. Луппов [18].

¹⁰ Отдельные переводы с польского языка, выполненные в Древней Руси, становятся предметом многих исследований. Существуют и попытки обобщающего подхода

чем-то особенным или необычным. Дело, однако, в том, что в интересующем нас случае их преобладание столь велико, что они могли бы претендовать на статус особого предмета исследования.

3. Благодаря наличию в библиотеках, читательскому интересу и переводческим начинаниям польские переводы из итальянской литературы в восточнославянском ареале оказывали влияние на местных писателей, предоставляя им разнообразно используемые стимулы и образцы для творчества, а также на светских и духовных сановников, содержа указания и информацию, которые могли им пригодиться в их общественной деятельности и религиозных дискуссиях. Таким образом, мы имеем здесь дело не только с пассивным присутствием, но и с активным воздействием этих переводов.

Как же складывались в восточнославянском ареале судьбы старопольских переработок произведений Цезаря Барония, Джованни Ботеро и Торквато Тассо?

В настоящее время менее всего свидетельств мы имеем относительно Ботеро. Среди московских государственных книгохранилищ была по понятным причинам особенно богата библиотека Посольского приказа. По описи 1673 г. в ней хранился и труд Ботеро. Позднее, в 1684 г., эта библиотека получила несколько десятков книг из Верхней типографии (первоначально ею руководил ранее тесно связанный с польской культурой Симеон Полоцкий), среди которых оказался второй экземпляр этого трактата [18, s. 31—32]. Царевич Алексей Петрович, сын великого реформатора, но сам бывший противником преобразований, с энтузиазмом собирал книги: среди 268 томов, приобретенных в течение одного только года, был польский Ботеро третьего — как написано на титуле — издания 1659 г. [18, s. 34—35] (см. также [11]). Это издание и стало основой сохранившегося в трех списках русского перевода, изобилующего полонизмами и белорусизмами и выполненного приблизительно в 1681 г. царским придворным А. Башковым [20, s. 56; 22]. В 1691 г. князь Михаил Кропоткин перевел сохранившийся в одном списке фрагмент «Универсальных сведений», повествующий о Мартине Лютере и Жане Кальвине, беря за основу второе польское издание 1613 г. [20, s. 55; 22].

Трактат Ботеро в польской переработке распространился прежде всего в кругах государственной, сановно-придворной элиты. В Москву он попал относительно поздно, вероятно, в значительной мере благодаря третьему польскому изданию. Лексика перевода Башкова, довольно широко распространившегося в списках, позволяет выдвинуть гипотезу о каком-то белорусском посредничестве. Лишь это допустимо сказать на основании использованных здесь данных. Можно, однако, надеяться, что в будущем этот вопрос получит еще дополнительное освещение.

Значительно полнее представлена в восточнославянском ареале судьба «Истории Церкви» Барония — Скарги (ср., в частности, [5, s. 31—32; 7, s. 219—220; 23, s. 105—106]). Экземпляры польской переделки были распространены здесь в XVII в., в частности, один принадлежал Симеону Полоцкому, воспитаннику одной из польских иезуитских коллегий, а в кругах, связанных с московской Верхней типографией, — ее официальному управляющему митрополиту Павлу и корректору Ефиму, прекрасно знавшему польский язык [18, s. 29—30; 22, s. 175]. И в следующем столетии, т. е. спустя долгое время после выхода двух польских изданий, это сочинение хранилось, в частности, в библиотеках князя Дмитрия Голицына, митрополита Стефана Яворского, связанного с Польшей многими узами, новгородского митрополита Иова и петербургской епархиальной семинарии (по описи 1740 г.) [18, s. 33, 36, 38, 39].

к этой переводческой деятельности (см., например, [19; 20]). Проблема переработки польских переводов наиболее отчетливо вырисовывается все-таки в связи с романом, который был в Польше почти полностью переводным и в значительной степени перенесен в восточнославянский ареал через польское посредство (ср., например, [21]). Однако роман не будет тут рассматриваться особо, поскольку он резко проникал в Польшу непосредственно из итальянской литературы.

Ранние свидетельства уже не только наличия, но и влияния «Истории Церкви» в православных церковных кругах восходят к 1648 г., когда из нее брались цитаты для «Книги о вере» (хотя на основе имеющихся материалов трудно определить, не заимствовались ли эти фрагменты из уже существовавшего перевода на русский язык) [23, s. 106]. Со всей определенностью, однако, первый перевод обычно датируют 1678 г.¹¹ Именно тогда по указанию рязанского митрополита Иосифа монах Игнатий Лаврецкий перевел польскую «Историю Церкви» на церковнославянский язык, насыщенный полонизмами и украинизмами. Видимо, этот перевод был широко распространен, если он сохранился в нескольких списках. Из последующих трех переводов, сохранившихся уже лишь в единственных списках, только один датирован (1689). Поскольку, однако, все четыре перевода создавались в течение относительно короткого промежутка времени, оправданно говорить в данном случае о целой переводческой акции. Эта акция была вызвана потребностью церковных кругов в таком труде. Но одновременно с этим — благодаря появлению текстов, более доступных для широких кругов верующих — она создала возможность использования этого произведения раскольниками [7, s. 219—220; 5, s. 32].

Староверы в своей борьбе с официальной православной церковью, в своих выступлениях против постановлений Синода, против церковной реформы часто апеллировали к авторитету «Истории Церкви». Более того, постоянно обращаясь к тексту и используя его как оружие в борьбе, они по-своему интерпретировали его, по-своему варьировали, вносили интерполяцию, создавая таким образом на основе латинско-польско-русского оригинала своеобразные апокрифы. Подобная практика старообрядцев так беспокоила поддерживаемую государством Церковь, что в конце концов московский Синод предпринял в 1719 г. издание «очищенного» варианта этого труда, вновь не слишком отличавшегося от польской переработки Скарги (наш иезуит, которого раскольники отделили от Барония¹², снова появился теперь на титульном листе) [18, s. 33, 34; 7, s. 220; 22, s. 175]. Несмотря на близость перевода к первоисточнику, издатели рекомендовали читателям осмотрительно пользоваться этим сочинением, учитывая его католическое происхождение. Староверы, разумеется, не приняли официальный печатный текст и продолжали использовать свои рукописные «апокрифы», бытовавшие еще в конце XIX в. и даже позже.

Но издание положило начало новой фазе в истории труда Барония — Скарги, способствуя его проникновению от восточных славян к южным. В частности, московское издание, вероятно, помешало распространению перевода «Истории Церкви» Барония, выполненного непосредственно с латинского оригинала Андреем Матвеевым, принадлежащим к влиятельному при царском дворе боярскому роду, известному своей прозападной ориентацией [7, s. 221].

Другой интересный эпизод, свидетельствующий о весьма своеобразном проникновении Барония в восточнославянский ареал при необычном посредничестве Польши, представлен в творчестве Феофана Прокоповича [25]. Этот прекрасно знающий польскую литературу автор преподавал в Киево-Могилянской Академии, в частности, риторiku, в результате чего возник сохранившийся в рукописи учебник «Об искусстве риторики» («De arte rhetorica libri decem», 1706). Этот учебник изобилует полемическими экскурсами, направленными против отрицательных сторон иезуитской гомилетики и иллюстрированными в качестве примеров польскими текстами. Прокопович осуждает, в частности, склонность «латинистов» к слишком частому использованию рассказов о чудесах и сверхъестественных событиях, черпая отрицательные примеры из продолжения труда

¹¹ О переводах «Истории Церкви» Барония — Скарги в восточнославянском ареале пишут, в частности, Ю. Лабынцев, Р. Пяккио, Ф. Селицкий, Я. Тазбир [20, s. 55; 7, s. 219; 22, s. 174; 5, s. 32].

¹² Перевод Барония, наряду с произведениями Тацита, Монтескье и Вольтера, читала зимой 1754—1755 гг. императрица Екатерина II, когда после рождения будущего императора Павла страдала меланхолией и ипохондрией [24].

Барония, незадолго до этого изданного в обработке польского иезуита Яна Квяткевича (1630—1703) [26; 27] ¹³.

Однако, вместе с тем, благодаря московскому изданию «Истории Церкви» ее влияние распространилось на славянские области Балкан. Оказывается, что в XVIII в. им широко пользовались родоначальники болгарской и сербской национальной литературы и национального возрождения — Паисий Хилендарский ¹⁴ (1722—1798) и Гаврило Стефанович Венцлович (XVIII в.) [7; 28; 29].

В целом труд Барония — Скарги со своими деривациями считается теперь, с перспективы нескольких столетий, одним из наиболее широко распространенных и наиболее плодотворно использовавшихся в восточнославянском ареале исторических текстов, известных в широких читательских кругах. Не удивительно поэтому, что слово «бароний» имело там хождение и как имя существительное, означающее сам трактат, а не имя римского кардинала, который многим читателям, вероятно, просто не был известен [7, с. 220]. Поэтому следовало бы задуматься о причинах этого необыкновенного успеха.

Не подлежит сомнению, что польский текст в языковом отношении был более доступен, чем латинский оригинал, и что благодаря сокращениям он стал компактнее и доходчивее первоисточника, а это имело особое значение в связи с рукописным, как правило, путем его распространения. Очевидно также, что компендиум должен был удовлетворить существенные потребности в сфере исторической информации, особенно проявлявшиеся в рамках православной церкви. Но наряду с этими «внутренними» факторами в данном случае воздействовали также определенные импульсы, навязываемые извне. Мы имеем здесь в виду акции католической церкви в период Контрреформации и после Брестской унии, проводившиеся в значительной мере иезуитами и направленные на втягивание православия в орбиту римского влияния. Основной базой этой активной «восточной политики» католической церкви являлась, естественно, Польша, а одним из вдохновителей этой экспансии был выше упомянутый Скарга.

Именно это сочетание разного рода причин способствовало своеобразию судьбы книги Барония—Скарги. Особенно парадоксальным представляется тот факт, что сочинение римского кардинала, переработанное польским иезуитом, представляло аргументы в спорах, проходивших внутри православной Церкви. Необычайной оказалась также живучесть памятника во времени — он известен в той или иной степени вплоть до конца XIX в. — и распространенность этой известности в пространстве, охватывавшем даже южнославянский ареал. Лишь немногие произведения в то время пользовались такой популярностью, что удостоивались напечатания — издание «Истории Церкви» стало уже результатом реформ, проводимых Петром I. Черты тогдашней исторической действительности следует усматривать также в проникновении труда Барония—Скарги не только в Московскую Русь, но и на Украину. В этом предугаданы пути, по которым будет распространяться в восточнославянском ареале польский Торквато Тассо.

Совершенно отчетливо — особенно благодаря исследованиям последних десятилетий — вырисовывается теперь и судьба польского «Готфреда, или Освобожденного Иерусалима» в восточнославянском ареале ¹⁵. В этом случае, однако, надо сразу обратить внимание на два различия в восприятии по сравнению с сочинениями Ботеро и Барония: судьбы шедевра итальянско-польской эпики относятся уже к области чисто ли-

¹³ Эти тома охватывают период с 1572 по 1693 гг. (ср. также [28; 5, с. 30—31]). Переработку текстов за 1493—1572 гг. выполнил ранее в Риме на латинском языке по поручению папы Павла V польский доминиканин Абрахам Бзовский (около 1567—1637 гг.).

¹⁴ О влиянии Скарги на сочинение Паисия Хилендарского при посредстве русского варианта недавно упоминал автор первого перевода труда болгарского монаха на польский язык Ф. Корвин-Шимановский [30].

¹⁵ Превосходное целостное представление этой проблемы дал Р. Лужный [31]; ср. также [32]. Много существенных и ценных сведений по этому вопросу содержится в [33; 34].

тературных явлений; есь можно многого ожидать от будущих исследований — особенно от изучения богатейших, несмотря на многочисленные катаклизмы, рукописных собраний.

Наиболее ранние и явные следы знакомства с польским «Освобожденным Иерусалимом» восходят в самом начале XVIII в. к Киево-Могилянской Академии. Уже упоминавшийся Феофан Прокопович объединил свои лекции по поэтике в учебнике «Три книги об искусстве поэтики» («De arte poetica libri tres», 1705), щедро иллюстрированном литературными текстами. Среди цитируемых здесь писателей встречается и именуемый *ragus poeta Polonus* Кохановский — переводчик поэмы Тассо. Известный киевский теоретик прямо цитирует фрагменты «Готфреда» на польском языке, порой весьма обширные (например, 13 октав из песни IX). Выбор цитат свидетельствует о внимательном прочтении всего произведения и хорошем художественном вкусе. Сочинение Тассо—Кохановского, рассматриваемое наряду с античной классикой, обрело таким образом ранг образцового произведения, детально демонстрирующего эпическую поэтическую технику. У автора, который будучи униатом обучался в Римской коллегии св. Атаназия, такая оценка была не снисходительностью или данью каким-то требованиям момента. Все-таки этот воспитанник и польской иезуитской школы был в состоянии — как уже упоминалось — критически оценивать польских писателей.

Взгляды Прокоповича оказывали влияние на теоретические концепции, создававшиеся в киевской среде. Об этом свидетельствуют, в частности, идеи Лаврентия Горки. В возникшем также из лекций в местной академии труде «Образ поэтического искусства» («Idea artis poeseos», 1707) он часто обращается к польскому переводу «Освобожденного Иерусалима», впрочем, не только используя посредничество Прокоповича, но и обнаруживая непосредственное знакомство с поэмой Тассо—Кохановского.

Однако с деятельностью Прокоповича и Горки (а также других представителей киевских культурных кругов) будут связаны и последующие эпизоды, слагающиеся в картину значительного успеха польского «Готфреда» в восточнославянском ареале. Вспомним, что оба они — помимо преподавания, предположавшего теоретические построения — занимались и оригинальным творчеством и что им обоим пришлось покинуть столицу Украины (Прокопович стал со временем новгородским архиепископом, а Горка — вятским епископом).

Об этом успехе свидетельствуют также переводы, выполнявшиеся не с итальянского оригинала, а с польского варианта этого шедевра. Наиболее ранний перевод, который хотелось бы отметить, не связан ни с киевскими традициями, ни с учебниками поэтики. Где-то на рубеже XVII и XVIII в. в Жировцах около Слонима в Белоруссии, в Успенском монастыре, принадлежавшем униатским базилианам, почти половина этого сочинения (первые девять песен и 59 октав из песни X) была переведена тринадцатисложником на украинский язык, обильно насыщенный церковнославянскими архаизмами и лексическими полонизмами. Эта попытка была неудачной, в частности, из-за слишком рабского следования польскому тексту. Но она заслуживает внимания и как результат кропотливого труда, возможно, целой группы монахов, и как свидетельство читательских запросов монашеской среды, и как проявление переводческой деятельности базилиан, которые, прибегая к посредничеству польских переводов, пытались перенести в восточнославянский ареал и другие произведения итальянской литературы.

Большинство этих переводов сделано, однако, уже в XVIII в. и на территории Московской Руси, ибо в более поздние времена и на землях, значительно удаленных от шляхетской Речи Посполитой, знание польского языка явно уменьшается. Но и тогда киевские традиции оказывали сильное входновляющее воздействие, и интерес к учебникам поэтики продолжал удерживаться.

Ранний перевод фрагментов польского «Готфреда» принадлежит перу Федора Кветницкого. Этот преподаватель поэтики московской Славяно-

греко-латинской академии, одним из слушателей которой был, в частности, молодой Ломоносов, включил в свой учебник «Ключ поэтики» («Clavis poetica», 1737) отрывки из «Освобожденного Иерусалима», выбор которых указывает на влияние Феофана Прокоповича.

В свою очередь, с Лаврентием Горкой и его произведением связана преподавательская деятельность Михаила Финицкого в Вятке. Этот учитель тамошней школы включил в свой учебник поэтики, также названный «*Idea artis poeseos*» (1741), те же фрагменты поэмы, которые ранее использовал Горка. При этом в своем переводе на русский язык он пользовался как октавой, так и сапфической строфой (введенной, впрочем, в русскую поэзию Симеоном Полоцким в парафразе «Псалтыри Давида», появившейся под влиянием переводческого шедевра Яна Кохановского).

Особого упоминания заслуживают, наконец, реминисценции польского «Освобожденного Иерусалима» в поэтической практике восточнославянских авторов. Их можно обнаружить в среде Киево-Могилянской академии еще до трудов Прокоповича и Горки. Преподаватель Академии Илларион Ярошевский в поэтике «Кедр Аполлона» («*Cedrus Apollinis*», 1702) поместил, видимо, свое собственное сочинение, посвящее явные черты воздействия польского «Готфреда». Это проявилось как в обращении, парафразирующем начальную апострофу «Освобожденного Иерусалима», так и в силлабическом размере стиха (здесь еще нет октавы, но есть одиннадцатисложник). Октава же, новая строфическая форма в восточнославянской поэзии, появится несколько позднее, в оригинальных произведениях Прокоповича и Горки. У Прокоповича в батальных сценах можно также уловить эхо описаний битв, столь мастерски выполненных Петром Кохановским.

Итак — как свидетельствует даже незначительное число избранных здесь примеров — «Освобожденный Иерусалим» Тассо—Кохановского выполнял в восточнославянском ареале разные функции, присутствовал там в разных сферах литературной жизни. Он читался по-польски, представляя не только образцы поэтических решений, особенно в области эпической техники. Перед лицом угрозы со стороны турок, а особенно татар, он мог актуально звучать и в восточнославянском ареале: знакомить здесь со многими историческими, географическими и бытовыми деталями, служа удовлетворению познавательных запросов и интереса к экзотике. Благодаря своим выдающимся художественным достоинствам, он мог впечатлять восприимчивых читателей. Одним словом, это произведение удовлетворяло самые разнообразные потребности отдельных читательских групп.

В восточнославянском ареале польский «Готфред» подвергся и переводческим переработкам. Эти переводы опять-таки могли иметь по крайней мере двойное значение. С одной стороны, они позволяли широким кругам читателей, не слишком хорошо знающих польский язык, познакомиться с шедевром итальянского поэта. С другой стороны, они способствовали совершенствованию переводческой техники, а в более далекой перспективе — отечественной поэтической техники вообще, содействуя, таким образом, развитию национальной литературы. Последнее наиболее отчетливо и ярко проявилось в оригинальном творчестве отдельных авторов, на которых польский «Освобожденный Иерусалим» оказывал особенное влияние своими композиционными, стилистическими и поэтическими особенностями. Этому влиянию на поэтическую практику благоприятствовало исключительное место польского «Готфреда» в нормативных поэтиках. Он часто присутствовал здесь в качестве материала, иллюстрирующего теоретические положения, а Петр Кохановский — как бы относимый к классикам — упоминался даже чаще, чем сам Торквато Тассо. Имея это в виду, можно обоснованно заключить, что литературная рецепция польского «Освобожденного Иерусалима» на восточнославянской почве была чрезвычайно богатой и разносторонней, если не сказать полной.

Мы выбрали лишь несколько из довольно большого числа польских переводов, распространенных в восточнославянском ареале. Их судь-

бы были здесь представлены лишь в нескольких чертах. За рамками нашего очерка остались поэтому как другие переводы, восприятие которых в восточнославянском ареале уже освещено, так и иные проявления живого присутствия польского Барония, Ботеро и Тассо на Руси (не говоря уже о рукописных собраниях, либо безвозвратно утерянных, либо ждущих еще своего открытия). Поэтому мы действовали избирательно, располагая фрагментарными материалами. Несмотря на это, уже сейчас хотелось бы попытаться сформулировать некоторые выводы, которые позволяют сделать, как представляется, собранные тут факты.

Можно было бы, разумеется, остановиться здесь на прочности или продолжительности воздействия польских переводов итальянской литературы в восточнославянском ареале. Ведь они активно циркулировали, начиная с середины XVII в., более столетия. Можно было бы также обратить внимание на языковую инфильтрацию в результате распространения переводов — они становились каналом, особенно благоприятствовавшим проникновению лексики, перенося не только полонизмы, но и латинизмы и итальянизмы [35]. Можно было бы, кроме того, отметить, что значение этих переводов выходило за рамки литературы, ведь к польскому Ботеро обращались дипломаты, Бароний использовался в разгар полемики внутри православной церкви, а польский Тассо, возможно, находил применение в деятельности униатских базилиан. Можно было бы, наконец, подчеркнуть, что наши переводы попадали не только в узкий круг быстро европеизировавшейся государственно-церковной и научно-литературной элиты. Они распространялись значительно шире, попадая и в круги старообрядцев. Думается, однако, что эти напрашивающиеся выводы следовало бы объединить в два комплекса, включающие теорию перевода и компаративистику, впрочем, взаимосвязанные между собой.

Теоретика перевода заинтересуют по крайней мере три проблемы. Первая из них, скорее исторического характера, связана с международным значением переводов итальянской литературы на польский язык на рубеже XVI—XVII вв. Вторая, более теоретического характера, предполагает изучение такой переводческой практики, когда за основу берется не оригинал, а другой перевод. Подобная практика была особенно распространена в период формирования национальных литературных языков и на ранней стадии их функционирования. Наконец, третья проблема, сводящаяся к методологии, предполагает включение в сферу сравнительных исследований не только итальянских оригиналов, но и польских переводов, игравших роль посредника, ибо лишь такой путь позволит тщательно проследить и по достоинству оценить собственный вклад принимающей восточнославянской стороны в эти заимствования.

В свою очередь, компаративист при подведении итогов учитывает по крайней мере три направления.

1. Исследователь древних польско-итальянских связей сталкивается с их особым значением на рубеже Ренессанса и Барокко. Оно проявляется, в частности, в заметном оживлении контактов и в явно ускорившейся реакции на актуальное в Италии, в отголосках этих контактов за пределами шляхетской Речи Посполитой. Среди факторов, обуславливавших именно в эту эпоху такое их значение, видимо, следовало бы выделить прежде всего политическую экспансию на Восток, а также разностороннюю деятельность католической Церкви, проводившей после Тридентского Собора политику контрреформации (иезуиты, коллегии на восточных окраинах, Брестская уния).

2. Исследователь древних польско-восточнославянских литературных связей получает здесь возможность проследить их пути, обусловленность и содержание, причем в особенно плодотворный период этих отношений. Ярко вырисовывается роль Украины и белорусских земель в перенесении из Польши на Московскую Русь итальянских произведений. Среди причин же, наряду с соседством, усиленным языковым родством, бросаются в глаза исторически изменяющиеся факторы, т. е., с одной стороны — значительная культурная восприимчивость открывающегося для внешних влияний восточнославянского ареала, а с другой — достаточная

культурная экспансия шляхетской Речи Посполитой, сопровождающая ее программную политическую экспансию. Наконец, если говорить о содержании произведений, заимствуемых в восточнославянском ареале из Италии, то можно заметить как утилитаризм, определяющий выбор материала, так и попытки приспособления текстов к местным условиям. Такое активное отношение к заимствуемым произведениям, несомненно, в немалой степени обусловило их успех в восточнославянском ареале.

3. В итоге исследователь древних итало-восточнославянских литературных связей оказывается перед необходимостью совмещения обеих названных перспектив, приводящего к построению трехсторонней компаративистической системы, где Италия выступает как дающая сторона, Польша — как посредник, восточнославянский ареал — как воспринимающая сторона. Такие трехсторонние системы составляют предмет особенно интересных исследований современного компаративиста.

Но и ранее их существование замечалось. В XVIII в. биограф Петра I, С. Писарев, говорит, что великий царь будто бы предвидел, что эти Музы проникнут в Россию, чтобы на долгие века поселиться там. Об этом Писарев пишет в предисловии к переводу сочинения Эммануила Тезауро (1592—1675) «Нравственная философия» («La filosofia morale», 1670). Перевод трактата одного из наиболее характерных для XVII в. теоретиков, опубликованный в 1764—1765 гг., был выполнен уже непосредственно с итальянского языка.

Так начали исполняться мечты великого реформатора: западноевропейские достижения, попадающие вначале в Польшу и лишь при ее посредничестве — в восточнославянский ареал, стали теперь проникать сюда непосредственно и во все большем масштабе. В результате реформ Петра I этот процесс и его следствия расширялись, хотя с точки зрения итальянской литературы он не всегда развивался по прямому пути. Об этом свидетельствует судьба неоднократно упоминавшегося здесь «Освобожденного Иерусалима». Шедевр Тассо, попавший в восточнославянский ареал благодаря польскому посредничеству, в конце XVIII в. был переведен прозой с французского (!) варианта и лишь в начале следующего столетия — русским александрийским стихом с итальянского оригинала [36].

Итак, судьба этой поэмы в восточнославянских литературах с эмблематической выразительностью отражает этапы длительного процесса преодоления изоляции, обращения к Западу. Для нашего очерка, однако, особенно существенно распространение во времени и пространстве польской рецепции произведений Тассо, а также Ботеро и Барония. Оно тем более существенно, что обнаруживает следы литературного посредничества Польши между Западной Европой (представленной здесь Италией) и восточнославянским ареалом. Мы склонны в этом посредничестве видеть и источник особого значения эпохи рубежа Ренессанса и Барокко в Польше. Ведь это посредничество, известное как в более ранние, так и более поздние времена, в случае заимствований, осуществлявшихся в Польше на рубеже веков, приобрело особенно плодотворную интенсивность вследствие целой совокупности культурных, политических и религиозных факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Brahmer M.* Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wrażliwych stosunków kulturalnych. Warszawa, 1980, s. 20.
2. *Slaski J.* Le traduzioni dalla letteratura italiana in Polonia durante il Barocco.— In: *Barocco fra Italia e Polonia*, Warszawa, 1977; *Slaski J.* Tłumaczenia w Polsce doby Renesansu oraz pogranicza Baroku (Szkic problematyki).— In: *Problemy literatury staropolskiej*. Ser. III. Pod red. J. Pelca. Wrocław, 1978; *Slaski J.* Literatura włoska w Polsce na pograniczu Renesansu i Baroku.— In: *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*, Wrocław, 1984.
3. *Berga A.* Un prédicateur de la cour de la Pologne sous Sigismond III, Pierre Skarga (1536—1612). Etude sur la Pologne du XVI^e siècle et le protestantisme polonais. Paris, 1916.
4. *Tazbir J.* Piotr Skarga, Siermierz Kontrreformacji. Warszawa, 1978.
5. *Tazbir J.* Baroniusz a Skarga.— In: *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*, Wrocław, 1981.

6. *Baronio C.* Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa. Wybrane z «Rocznych dziejów kościelnych» Cezara Baroniusza kardynała /.../ nazwanych «Annales ecclesiastici» przez ks. Piotra Skarge Societatis Iesu, za dozwoleńiem tegoż kardynała i starszych. Te księgi zamykają w sobie dziesięć tomów to jest lat tysiąc. /.../ Kraków, 1603; ... Te księgi zamykają w sobie dwanaście tomów to jest lat tysiąc i dwieście, wtórym wydaniem. /.../. Kraków, 1607.
7. *Picchio R.* Gli «Annali» del Baronio—Skarga e la «Storia» di Paisij Hilendarski.— In: Ricerche Slavistiche, Roma, 1954.
8. *Slaski J.* Le ispirazioni baroniane nella drammaturgia gesuitica polacca.— In: Baronio e l'arte. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sora 10—13 ottobre 1984). Sora, 1985.
9. *Sajkowski A.* Znajomość włoskiej literatury geograficzno-podróżniczej w Polsce (G. Ramusio, G. Botero).— In: Studi slavistici in ricordo di Carlo Verdiani. Pisa, 1979, s. 291—297.
10. *Polski słownik biograficzny.* T. XVIII, z. 3/78/. Wrocław, 1973, s. 350—351.
11. *Botero G.* Relacje powszechne abo nowiny pospolite przez Jana Botera Benesiusa rozłożone na pięć części. /.../. W włoskiego na polski język, dla uciechy rozmaitego stanu ludzi i nabycia wiadomości rzeczy o wszystkim prawie w pospolitości co się na świecie dzieje, przez jednego zakonnika od bernardynów wiernie przetłumaczone /.../. Kraków, 1609.
12. *Estreicher K.* Bibliografia polska. T. XIII. Kraków, 1894, s. 291—293.
13. *Chabod F.* Le fronti delle «Relazioni universali» e il metodo del Botero.— In: Scritti sul Rinascimento. Torino, 1967, s. 390—396.
14. *Pollak R.* «Goffred» Tassa—Kochanowskiego. Poznań, 1922.
15. W kręgu «Goffreda» i «Orlanda». Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4—6 kwietnia 1967). Wrocław, 1970.
16. *Tasso T.* Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Przekład P. Kochanowskiego. Kraków, 1618.
17. *Estreicher K.* Bibliografia polska. T. XXXI, Kraków, 1936, s. 57.
18. *Łuppow S. P.* Książka polska w rosyjskich bibliotekach i księgozbiorach prywatnych XVII i pierwszej połowy XVIII wieku (Z historii polsko-rosyjskich związków kulturalnych).— In: Studia o Książce. Wrocław, 1976.
19. *Lewin P.* Recepcja literatury tłumaczonej w Rosji w wieku XVII i pierwszej połowie wieku XVIII.— Slavia Orientalis, 1966, z. 1.
20. *Labynczew J.* Proba typologii polskiej książki naukowej tłumaczonej w Rosji w XVII wieku.— In: Studia o Książce. Wrocław, 1977.
21. *Matek E.* Romans staropolski na Rusi. Stan i potrzeby badań.— Slavia Orientalis, 1976, z. 3.
22. *Sielicki F.* Kronikarze polscy w latopisarstwie i dawnej historiografii ruskiej.— Slavia Orientalis, 1965, z. 2.
23. *Picchio R.* La «Istoriija slavenobolgarskaja» sullo sfondo linguistico-culturale della Slavia ortodossa.— In: Ricerche Slavistiche. Roma, 1958, s. 105—106.
24. Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. Przekład z francuskiego A. Siemaszkiewicz. Wstęp i przypisy W. A. Serczyka. Kraków, 1980, s. 190.
25. *Łużny R.* Peofan Prokopowicz a kultura polska. Z dziejów związków literackich polsko-ruskich na przełomie XVII i XVIII wieku.— Slavia Orientalis, 1965, z. 3, s. 341—342.
26. *Kwiatkiewicz J.* Roczne dzieje kościelne od Roku Pańskiego 1198 aż do naszych lat /.../. Kalisz, 1695.
27. *Kwiatkiewicz J.* Supplement «Rocznych dziejów kościelnych» /.../. B. m. 1706.
28. *Estreicher K.* Bibliografia polska. T. XX. Kraków, 1905, s. 421.
29. *Costantini L.* Gli «Annali» del Baronio—Skarga quale fonte di Gavriilo Stefanovic Venclovic.— In: Ricerche Slavistiche. Roma, 1968—1969, s. 163—190.
30. *Paisij Chilendarski.* Słowianobułgarska historia. Przekład i przypisy F. Korwin-Szymanowskiego. Warszawa, 1981, s. 8.
31. *Łużny R.* «Goffred» Tassa—Kochanowskiego na Rusi w wieku XVII—XVIII.— In: W kręgu «Goffreda» i «Orlanda». Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 3—6 kwietnia 1967). Wrocław, 1970.
32. *Lewin P.* Rosyjskie przekłady «Goffreda» w wykładach poetyki z XVIII wieku.— Slavia Orientalis, 1969, z. 4.
33. *Łużny R.* Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII—XVIII wieku. Kraków, 1966.
34. *Lewin P.* Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII wieku (1722—1774) a tradycje polskie. Wrocław, 1972.
35. *Kochman S.* Polso-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w XVII wieku. Wrocław, 1967; *Kochman S.* Polso-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII wieku. Słownictwo. Opole, 1975; *Leeming H.* Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego. Wrocław, 1976.
36. *Lewin P.* Literatura staropolska a literatury wschodniosłowiańskie (Stan badań i postulaty badawcze). In: Literatura staropolska w kontekście europejskim (związki i analogie). Materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27—29 X 1975). Wrocław, 1977, s. 158.



ЭВОЛЮЦИЯ РОМАНА-ЭПОПЕИ («НОЧИ И ДНИ» МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ: ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ И АВТОРСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ)

Роман-эпопея принадлежит к числу сравнительно молодых и все еще развивающихся жанров, которые М. Бахтин называл «неготовыми» именно в силу их изменяющегося и окончательно не застывшего облика. Возникший в процессе взаимодействия жанровых структур эпоса и романских разновидностей, стилевых каналов предшествующей ему прозы и поэзии роман-эпопея является их синтезом и в качестве такого содержит в себе значительное число составляющих их элементов, упорядоченных, однако, в качественно новую функциональную и семантическую целостность. При этом как система, эволюционирующая вот уже свыше полутора веков, такого рода жанр с трудом поддается однозначному определению и ввиду самой своей нестабильности, и вследствие наличия своих внутрияжанровых разновидностей.

Праистория межжанрового синтеза, который в исторической перспективе привел к появлению романа-эпопеи, восходит (как, впрочем, и множество других истоков современной литературы) к эпохе Возрождения. «Влюбленный Роланд» (1494) М. Боярдо, «Неистовый Роланд» (1516) Л. Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» (1575) Т. Тассо — первые крупные образцы эпической «поэмы-романа» [1], которые ведут к роману — «эпосу частной жизни» в новом — буржуазном — периоде европейской истории, как определил Гегель во времена Просвещения романский тип, сложившийся в XVIII в. В следующем столетии эта эволюционная тенденция проявляется в таких шедеврах, как «Евгений Онегин» Пушкина и «Пан Тадеуш» Мицкевича, в жанрах, квалифицируемых в Англии как *ironical poem*, в Германии — *romantisch-ironischer Epos*, в Польше — *poemat dygresyjny* («Чайльд Гарольд» и «Дон Жуан» Байрона, «Беневский» Словацкого), а также в стихотворной повести (англ. — *romantic tale*, франц. — *roman poétique*, польск. — *powieść poetycka* — классические образцы: «Песнь последнего менестреля» В. Скотта, «Домик в Коломне» Пушкина, «Мария» Мальчевского, «Конрад Валленрод» Мицкевича, «Монах» Словацкого). В литературной теории романтизма по-прежнему еще не было резкого разграничения на поэзию и прозу. (Вспомним авторскую квалификацию «Евгения Онегина» как «романа в стихах» или «Мертвых душ» как «поэмы».) Разграничение назревает постепенно, вместе с развитием реализма и связанных с ним прозаических разновидностей романа.

Свойственная роману-эпопее масштабность охвата и объемность воспроизведения общественной реальности и взаимосвязанных с ней индивидуальных судеб, широта (и отдаленность) исторического времени, связан-

Липатов Александр Владимирович — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

ных с ним социальных, культурных и психологических изменений — все это же, но только в пространственно-временной суженности характеризует по фабульным признакам соответственно разные виды романа, например, исторического или социально-бытового (типа семейной хроники, дневника или мемуаров). Именно пространственная масштабность и временная широта художественного воспроизведения, а также возникшие в кругу такого типа повествования и именно ему свойственные метафизические, онтологические, гносеологические, аксеологические качества, обуславливающие глобальную, всеобъемлющую интерпретацию сути человеческого бытия — все это предопределило видовые особенности эпического романа, формирующегося в процессе синтеза отмеченных выше родовых (жанрово-стилевых) литературных условностей и принципов. Многообразие разножанровых и внутрижанровых составляющих эту генологически новую целостность, возникающую в процессе синтеза жанров и одновременно развивающуюся уже как самостоятельное целое со свойственным именно ему типом художественного мышления-повествования, не вмещалось в традиционные литературно-теоретические каноны и рецептивные представления. В этом отношении симптоматично суждение Л. Н. Толстого о «Войне и мире». Ощущая отличие своего произведения, он определял его как «книгу о прошедшем» [2, т. 15, с. 241], а осмысляя его в свете жанровых правил, констатировал: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось» [2, т. 16, с. 7]. Такого рода писательская позиция и историко-литературная ситуация не новы. Все это отражает появление новых форм, не соответствующих устоявшимся канонам, и стремление создателей этих новых форм отмежеваться от прежних, исторически изживших себя традиций, когда отбрасывалось даже само определение «роман» применительно к новым его внутрижанровым разновидностям. Так было с создателями реально-бытового романа в XVII в. и просветительского — в XVIII (см. [4, с. 276—289; 3]). В XIX в. в этом же ряду можно поставить, и суждение Л. Н. Толстого: «Форма романа прошла» [2, т. 52, с. 239]. Такая констатация отражает ощущаемый уже в середине XIX в. кризис существующих романских форм, а одновременно — появление новых разновидностей романа. Этот процесс продолжается до сих пор¹. И эпопея М. Домбровской — звено в цепи эволюции эпической разновидности многообразного жанра, ставшего ведущим во всех литературах. Поэтому произведение польской писательницы привлекает внимание не только как ценность собственно национального искусства слова, но и как органичная часть общеевропейских достижений. Они — результат именно национальных свершений, без которых невозможно понять общеевропейский литературный процесс, стимулирующий в силу закономерностей обратной связи развитие отдельных литератур в общем направлении и одновременно способствующих постоянному синтезу в них национального и межнационального.

«Ночи и дни» (1932—1934) создавались в период, когда традиционная эпическая форма романа, раскрытая на внешний мир-макрокосмос и погруженный в нем микрокосмос личности, оказались в тени новой романной формы. По отношению к предшествовавшей она представляла собой как бы ее зеркальное отражение: то же, но развернутое в обратном направлении. Проекция на огромный и многоплановый внешний мир здесь соответствовала проекция, обращенная в бесконечность внутреннего мира, безграничность сложности его сознания и нескончаемость лабиринтов подсознания. Поэтому рациональной трехмерности форм и линейности их сочетания и взаимоперехода в эпическом романе традиционного типа соответствовали обусловленные иррациональностью внутренней сути человека многомерность форм и ассоциативность их взаимосвязей. Раскрытый на микрокосмос этот роман предстает как эпопея внутреннего мира личности, связанной с макрокосмосом уже самим фактом своего ма-

¹ Вспомним не столь уж отдаленные дискуссии об ангиромане или феномен лагиноамериканской прозы.

териального бытия и одновременно отчужденной от него осознанием своей единичности; связанной с ним общественными обязанностями и отгораживающейся от него волей к суверенной индивидуальности; обращенной к нему разумом и отворачивающейся от него подсознательностью. Эти антиномии, создавая напряжение сюжета, одновременно коренным образом меняют как его облик (вытеснение на второй план внешних перипетий за счет перипетий внутренних), так и облик повествования (например, нарративный тип, получивший определение «потока сознания»). Эта новая разновидность романной эпики отнюдь не была порождением только лишь формально-эстетических поисков в сфере искусства, либо отражением духовного кризиса европейской культуры, ранее осознанного в трудах Шпенглера, Бердяева, Ортеги-и-Гассета. Это было также проявлением нового мироощущения, поисков новых ориентиров и указателей в постепенно открывающейся перспективе на XX век. Для начальной стадии этой новой, раскалываемой противоречиями и на наших глазах становящейся исторической эпохи характерны произведения М. Пруста и Д. Джойса, которые открывали также и новую эпоху в истории романа. Однако для этой же исторической эпохи и этой же эпохи истории романа, характерно также и параллельное существование эволюционной линии литературы — тех устремлений, которые в новых условиях продолжали, отстаивали и развивали гармоничные идеалы средиземноморского круга культуры. В этом контексте Домбровская была непосредственной продолжательницей как традиций литературы национальной (Крашевский, Сенкевич, Прус, Ожешко), так и европейской (Стендаль, Бальзак, Теккерей, Толстой, Гарди), примыкая к той линии современного романа, которую символизирует эпическая проза Р. Роллана, Т. Манна, Л. Фейхтвангера, Р. Мартена Дю Гара, Д. Голсуорси, С. Унсет, М. Горького, М. Шолохова, А. Солженицына.

При явном преобладании новых школ, течений, направлений реализм в своей эволюционирующей линии обладал той динамикой развития, которая свидетельствовала о жизненности и неисчерпанности творческих возможностей как самого направления, так и некоторых связанных с ним жанров. «Ночи и дни» Домбровской являются характерным примером национального развития этого общеевропейского направления, а в его рамках — романа-эпопеи. Именно это произведение вывело современный польский реализм на европейский уровень, что сразу же (1933) было отмечено одним из крупнейших литературоведов Польши того времени К. В. Заводзиньским.

Шедевр возникает в непосредственном соприкосновении с созданными ранее ценностями и без них не мыслим. Однако, в отличие от «обычных» писателей гений, самобытный талант не ищет «готовых» схем, эталонов, ориентиров для воплощения своего мировидения. В процессе самовыражения он осознанно их отталкивает, тогда как его художественное подсознание содержит в себе некое общее ощущение литературной культуры, которое предопределяет как очертания уже существующего поля художественных возможностей, так и новаторские выходы за его пределы. Эта диалектика рационального и эмоционального, объективного и субъективного, культуры и природы создает то таинство психологии творчества, которое порождает индивидуализацию проявления гениального дара, создающего нечто новое. Это новое соотносится с уже существующими ценностями, связано с ними и в то же время расширяет их круг. Обладая собственной динамикой, оно создает свою ориентацию движения, прокладывает свой путь к познанию вечных тайн бытия.

«Когда мной овладела мысль написания такого рода произведения, — рассказывала Домбровская, пытаюсь объяснить творческие импульсы, вызвавшие к жизни „Ночи и дни“, — я даже не знала, что столько больших писателей разрабатывало либо разрабатывает тему семьи или рода. Сознание этого меня бы смутило, а может быть и оттолкнуло от моих намерений» [4]. Вот именно — «смутило» или «оттолкнуло». Большой художник всегда боится известных клише и притягательных, «освященных» авторитетами образцов. Приступая к работе, он как бы «изгоняет» их из

своей памяти, как бы «забывает» все, что может сковывать его творческую волю. Конечно же Домбровская знала эпические романы Стендаля, Бальзака, Толстого или увенчанной Нобелевской премией своей современницы С. Унсет, не говоря уже о непосредственных своих польских предшественниках — Крашевском, Прусе, Сенкевиче и Ожешко². Знала как читательница. Но она «не знала» их как писательница.

Большой художник в процессе созидания как бы заново разрабатывает известные темы, заново раскрывает являющиеся общим достоянием идеи, заново использует уже существующие формы. Во все это он привносит свою творческую индивидуальность, свое ощущение духа времени, свое понимание художественной формы. Отсюда — новаторство в «неведении», оригинальность — в «традиционализме». Домбровская шла в этом же направлении, что и другие эпика, но своей, индивидуальной, собственным талантом прокладываемой тропой в дебрях общественных идей и художественных форм.

Так же как большой художник в процессе творчества «абстрагируется» от уже созданного до него, точно так в процессе познания и самопознания он абстрагируется от своей творческой индивидуальности и своего творения: тем самым осуществляет переход от сферы подсознательного к сфере сознания. Осмысливая теперь уже «извне» созданный ею роман и свою творческую лабораторию, из которой он вышел, Домбровская отмечает грани общего и особенного, определяет критерии традиционного и оригинального: при наличии основных тем и направлений в современной эпической прозе «линии либо критерии разделения могут быть в каждом случае разные» [5]. Для времени многочисленных литературных манифестов и формальных экспериментов симптоматичны размышления писательницы о проблемах жанровой формы своего романа: «Мир так утомлен победами писательской техники, что желает хотя бы возвращения к старому реалистическому тенденциозному роману. Но это было бы метание из одной крайности в другую — и я должна сказать, что старалась этот соблазн от себя отдалить» [6].

Эти авторские размышления, высказанные «на перекрестке» авангардистских устремлений и традиционалистских тенденций современности, возникшие в атмосфере противоречивости литературной культуры самооценки и постулаты как свидетельства поисков писательницы, ее устремлений, намерений и, наконец, собственного видения своего произведения, помогают осознать творческое кредо Домбровской. Именно в его свете рассмотрение формы романа «Ночи и дни» и его сопоставление с другими произведениями подобного рода раскрывает как особенности продолжения Домбровской традиций жанра, так и создание свойственных именно ей особенностей романного эпоса.

Завершенная идейно-художественная целостность «Ночей и дней» — своего рода очередная реализация гегелевской концепции романа как «эпоса частной жизни»: каждая часть тетралогии — внутренне завершенный этап биографии главных героев. Это отражают (и подсказывают) сами названия частей («Богумил и Барбара», «В вечной тревоге», «Лисбовь», «Ветер в лицо»). Если же иметь в виду собственно жанровые детерминанты романа-эпопеи, то и они в достаточной степени характеризуют суть имманентной поэтики произведения Домбровской: судьбы героев взаимосвязаны с поворотными событиями национальной истории и с разной степенью полноты показаны на значительном ее протяжении — от восстания 1863 г. (предыстория главных персонажей и их семей) до начала первой мировой войны; семья предстает как средоточие нравственных, национальных, общественных ценностей и исторических представлений эпохи; жизненные пути центральных персонажей отражают устремления, поиски и заблуждения, которые характеризуют не только особенности личности и социальной среды в меняющемся времени и географически расширяющемся романном пространстве, но и знаменательные для целой

² Кстати, С. Унсет, Ю. И. Крашевского и Э. Ожешко она вспоминает в названной статье [4].

эпохи убеждения, раздумья и пути познания новых, неизбежно падвигающихся перемен, предвещающих будущее; изображение общественного бытия в судьбоносные периоды национальной истории связано с особым вниманием к социальным сдвигам, к сопряженным с ними изменениям в образе жизни, в сфере жизненных идеалов, духовных ценностей, индивидуальных выборов и общественных ориентиров. Все это в своей диалектической сумме — будучи художественно интегрированным системой повествования, свойственного именно роману-эпопее и именно его характеризующего — обуславливает воссоздание общенародной по характеру и масштабам картины исторического бытия, а одновременно — универсальной, общечеловеческой по своему звучанию идеи³.

Эти общие черты жанра, свидетельствуя о видовой принадлежности произведения Домбровской, еще не определяют его индивидуальный художественный облик, ибо проявляются здесь в своеобразном укладе, соотношении, наполнении и пропорциях. Чтобы постичь это своеобразие необходимо сменить исследовательский инструментарий — от литературоведческого «телескопа», открывающего перспективу на литературные роды и жанры, перейти к «микроскопу», позволяющему рассмотреть то индивидуальное и неповторимое, что присуще отдельным художественным произведениям. Их абстрагированные, а поэтому предстающие в виде общих (и тем самым объединяющих) особенностей черты теперь конкретизируются в творчески индивидуальном замысле и художественно уникальном исполнении.

Итак, образ общенародной жизни предстает в романе Домбровской как жизнь представителей очень польского (по сравнению с социальной историей и общественной современностью других наций) сословия, которое, будучи мозгом и движущей силой польского народа, несло на своих плечах героизм и трагизм, победы и поражения, прозрения и ошибки, возвышения и низости национальной истории, государственности и культуры вплоть до последних десятилетий XIX в., когда новая историческая реальность предопределила новую социальную стратификацию. Ее начала — в поражении последнего восстания шляхты в 1863 г. Это предыстория романских судеб Богумила (участника восстания) и Барбары (воспитанной в духе шляхетских традиций борьбы за национальную независимость). Кровавая волна репрессий и неизбежность буржуазных преобразований вышибли шляхту из рыцарского седла, положив начало крупнейшим в социальной истории поляков преобразованиям и связанным с этим изменениям традиционных стереотипов мироощущения, нравственности, культуры, жизненных идеалов. Эти эпохальные изменения — «перекомпоновка определенной формы польской жизни» (согласно констатации самой Домбровской) [5] — трансформация до сих пор исторически ведущего сословия, его внутренний распад, сопровождающийся переходом в другие социальные сферы, которым был свойственен иной образ жизни и формы деятельности; возникновение в результате этих процессов принципиально новых явлений в национальной жизни; зарождение нового мировосприятия и формирование нового исторического опыта — вот те сугубо польские особенности содержательной задачи романа-эпопеи Домбровской⁴. Подобно другим произведениям этого жанра он возник в период, когда само время написания и время описываемое ставили вопросы исторической значимости и приводили к необходимости поисков их решений. Проблемы, возникшие перед новым польским государством (время создания романа), были следствием того исторического багажа, который складывался во времена, описываемые в романе. Эпическая ретроспекция Домбровской — это попытка восстановить связь времен и осознать себя, свое поколение и свою действительность в движении истории. История же — национальная и общественная — осмысливается и показывается через судьбы от-

³ О жанре романа-эпопеи и его формально-содержательных детерминантах см. [7—12].

⁴ Об осознанности такого рода задачи и обусловленных ею авторских замыслах и намерениях отчетливо свидетельствуют собственные высказывания Домбровской (см. [4—6]).

дельных поколений одной семьи. Как и у Толстого в «Войне и мире» семья в романе Домбровской предстает как изначальная ячейка общества, одновременно отражающая и воспроизводящая всеобщие идеалы, утверждающая ценности традиционные и нововозникающие, национальные и общечеловеческие, которые затем передаются в наследие семьям следующих поколений.

В романе Толстого и семья Николая, и семья Пьера являют органичное сочетание духовности и естественной доброты. Это та преемственность, посредством которой осуществляется продолжение-возрождение непреходящих ценностей: без них невозможны как связи семейные, личностные, так и общественные, общенародные.

В романе Домбровской союз таких личностей, как Богумил (чья натура «созвучна жизни, действительна, скорее открыта на мир») и Барбара (натура которой «не гармонирующая с жизнью, трудно с ней сочетающаяся, полная беспокойства и недоверия к ценностям жизни, в какой-то степени замкнутая») [5] обретает зеркальное отражение в союзе Агнешки и Марчина — зеркальное с точки зрения законов отражения: так же, как в зеркале левое становится правым, а правое левым, так психологический облик Барбары обретает соответствие в облике Марчина, а Богумила — в облике Агнешки.

Одна из характерных черт романа-эпопеи — стремление показать, как исторические сдвиги вызывают изменения в сознании, жизненных познаниях, семейных отношениях, в самом представлении о семье. Это знаменательно для «Войны и мира» Толстого и для его предшественников (Стендаль, Бальзак, Теккерей), а также для всей последующей традиции романа-эпопеи. «Превращение определенного конкретного образа жизни в определенный иной» [4] является стержнем как самого замысла романа Домбровской, так и его творческой реализации и позднейших авторских размышлений о произведении.

Эпическая панорама «Ночей и дней» показывает на судьбах главных и второстепенных персонажей огромные перемены в национальной жизни, которые охватили общественные, нравственно-бытовые и духовные сферы, предопределяя бытие двух поколений. Первое из них, которое представляют Богумил и Барбара, — исторически отходящее — замыкает целую эпоху; второе — в лице Агнешки и Марчина — исторически входящее — открывает совершенно новый период героической и трагической истории Польши XX в.

История в романе Домбровской выступает не как объект описания, а как исходный пункт биографии главных героев (восстание 1863 г.), пункт соотнесения повествования и самой позиции повествователя, являясь тем самым скрытой пружиной романного действия и вершительницей судеб романских героев.

Место и роль *Deus ex machina* в традиционном эпосе выпала на долю истории и предопределяемых ею общественных процессов в романе-эпопее. Именно отсюда проистекает взаимосвязь отдельных жизненных судеб и социальных отношений в повествовательном мире романа-эпопеи.

Если в «Красном и черном» Стендаля или «Войне и мире» Толстого национальная история непосредственно втягивает героев в водоворот эпохальных событий, которые проецируются на масштабный общий фон и сюжет повествования, то в романе Домбровской (так же, как и у Бальзака или Теккерей) наоборот: эпическую панораму «Ночей и дней» создает «опрокинутое» (или «перевернутое») проецирование истории на индивидуальные судьбы, индивидуальные отношения и общенародную жизнь. Биографии персонажей и общественные отношения возникают, проявляются и развиваются в повествовательном мире прежде всего как конкретная, исторически обусловленная реальность польской жизни. При этом значительные события истории существуют как бы «перед» или «за» миром повествования двух первых частей тетралогии. Они выступают даже не как фон действия, а скорее в качестве пункта соотнесения внешней (событийной) и внутренней (духовной) истории главных героев (давний рыцарский этос шляхты и традиции народно-освободительной борьбы, повстанческое

прошлое Богумила, патриотические увлечения Барбары, огромные общественные и политические перемены после разгрома восстания 1863 г., существенно преобразившие уклад жизни, что отразилось на судьбах всех персонажей «Ночей и дней», составляя образ изображенного в романе мира). Такое повествовательное изображение формирует и сферу рецепции, создает свою систему восприятия, когда известные исторические события и их последствия выступают также в сознании читателя, соотносящего романный мир, биографии персонажей, подробности их жизни с самой реальной национальной действительностью описываемой поры.

В дальнейшем — по мере приближения романного времени к времени писателя — исторические события, связанные с ними общественные движения и идеи перемещаются из сферы, составляющей внутренний (отображенный) или внешний (существующий в сознании читателя) фон, на первый план, входят в сюжет, преображаясь тем самым из пункта соотнесения внероманной действительности с судьбами и мыслями героев — их «внешней» и «внутренней» истории — в саму эту историю. Такая трансформация романного мира обретает воплощение в сфере художественного повествования: воспроизводятся мысли, дискуссии на актуальные философские, социальные и политические темы и принимаемые интеллектуальные и нравственные решения, характеризующие облик нового поколения — поколения самой Домбровской и ее романых ровесников — Агнешки и Марчина.

Эта смена повествовательной «оптики» сразу же вызвала замечания части критиков (ср. [13—14]) и ответ Домбровской [5], свидетельствующий не только о ее чувстве формы, но и о раскованности мыслителя и творца, созидающего новое, а не подражающего ставшим привычными образцам.

Теперь — с перспективы времени — видно, что критиковавшие две последние части романа за отсутствие эпического подхода продемонстрировали живучесть оценок с точки зрения нормативной поэтики. Как таковая (в виде сформулированных кодексов) она начала отходить в прошлое еще во времена Просвещения, однако продолжала (и продолжает) функционировать в виде определенных стереотипов литературоведческого мышления и горизонтов читательского восприятия. И в том, и в другом случаях это зиждется на присутствии в сознании неких идеальных представлений о жанре, восходящих к тому или иному произведению (которое возводится в ранг эталона) и им ограничиваемых. В данном случае представления об эпическом основывались на его воплощении в классических образцах эпоса, эпической поэме, где обратная (обращенная в прошлое) перспектива повествования в силу этой своей обращенности является замкнутой в отношении настоящего и будущего. В результате такого повествовательного видения возникает замкнутая форма эпического мира. Он замкнут как такого рода обратной перспективой восприятия, так и возникающим вследствие именно такого восприятия видением, которое вырисовывается как давно уже заверченный во времени и замкнутый самой историей образ минувшего мира и связанных с ним ценностей. Отсюда свойственная эпическому видению дистанция времени, обуславливающая уравновешенность и объективизм повествовательской позиции, отсюда же и всезнающий образ самого повествователя, его спокойное, невозмутимое, интеллектуально и эмоционально сдержанное отношение к миру повествования. Между тем жанр романа-эпопеи, во-первых, по-своему — в соответствии со свойственной именно ему жанровой логикой — осмысливает и реализует эпическое видение (в отличие от классического эпоса и позднейшей эпической поэмы ему свойственно панорамное видение, поэтому его повествовательная перспектива является открытой, ибо обращена не только в прошлое, но и в настоящее, а также — будущее); во-вторых, сам этот эволюционирующий во времени жанр не являет собой некий единый эталон. Тем самым критика романа Домбровской, с одной стороны, отражает неустоявшиеся теоретические представления о жанре романа-эпопеи⁵, а с другой — сви-

⁵ Выделение такой внутрижанровой разновидности, как роман-эпопея осуществлено в нашем литературоведении и пока еще не распространено в зарубежной науке. Отсюда — отсутствие этого термина в таком ценном, получившем международное при-

детельствует о выходе художника за общепринятые рамки, выступает как своего рода знак его новаторства, которое во все времена воспринимается постепенно, осознается с трудом, как все не укладывающееся в рамки привычных представлений.

Разность в изображении повествовательного мира в двух первых и двух последних частях тетралогии не столько нарушение или стирание эпической дистанции (в чем упрекали Домбровскую), сколько реверсия повествовательного видения — смена нарративной перспективы, обусловленная развитием сюжета во времени и выражающаяся в переходе от прямой перспективы к обратной, которая разомкнута на новые времена, непосредственно предшествующие современности и предвещающие будущность.

Если перспектива двух первых частей тетралогии в соответствии с условностью классического эпоса и уже существующей традицией эпического романа развернута назад — в прошлое поколения «отцов», то перспектива двух последних — вперед: во времена поколения «детей». Отсюда иной тип видения проблем и персонажей, а также иной характер изображения: романное «сближение» (вместо эпического отдаления). Таким образом Домбровская показывает истоки современных (период написания и выхода романа-эпопеи) польских проблем, польских судеб, самой возрожденной польской государственности.

Итак, если предпосылкой эпического видения является уже завершенный (а поэтому — замкнутый) образ мира, то здесь в качестве границы замкнутости, а одновременно открытости (но уже в противоположном — от прошлого в сторону современности направлении) выступают истоки современности автора и его читателей. Именно они (ровесники Агнешки и Марчина), их духовная биография, сознание и исторический опыт являются собой пункты соотнесения в повествовании, предопределяя менталитет повествователя, равно как и саму перспективу нарративного видения проблем, событий и персонажей в двух последних частях тетралогии.

Так вырисовывается облик романа-эпопеи Домбровской. Мир, замкнутый в классическом эпосе или эпической поэме, здесь обретает продолжение в размыкании на последующие времена, которые он предварял, подготавливал и предвещал. В формальном плане это обретает воплощение в трансформации позиции (а отчасти и самого образа) повествователя, когда прямая перспектива повествования переходит в обратную. Таким образом замкнутое (ибо исторически завершенное) эпическое время обретает в романе-эпопее смысл, функцию и логику пролога, предвещающего и объясняющего приход новой эпохи.

С точки зрения исторической поэтики это свидетельство продолжающегося взаимодействия эпоса и романа. Оно проявляется в установлении связи времен, в характере воссоздания этой связи и воспроизведения прошлого, продолженного вытекающим из него временем — более близким читателю. Тем самым замкнутый («эпический») мир прошлого раскрывается навстречу приходящему современному. С точки зрения художественной системы это происходит путем смены перспективы «эпоса» на перспективу «романа», которая осуществляется по мере приближения времени описываемого мира к времени автора-повествователя. Их встреча-раскрытие замкнутого «эпического» времени и пространства в сторону времени и пространства «романного» — открытого, ибо еще не свершенного, только еще происходящего, находящегося в становлении. Такая «встреча» влечет взаимопереплетение элементов эпического и романного в тетралогии как жанровой целостности романа-эпопеи. В двух же заключительных его частях нарастание пространственно-временного сближения предопределяет усиление роли романного начала: если раньше автор-повествователь был отделен от своих персонажей и описываемых событий целой эпохой, то теперь он становится их современником со всеми вытекающими отсюда

знание издании, как созданный крупнейшими теоретиками польской академической науки «Словарь литературных терминов» [15]. Использование разработанного у нас подхода и связанного с ним понятийного аппарата применительно к произведению Домбровской может служить подтверждением плодотворности созданной у нас теоретической концепции.

да последствиями в его позиции, стиле и самой тональности повествования. Имение Сербинув и город Калинец очерчивают эпическую перспективу обобщающей картины жизни польского села и города. С переходом к перспективе романной — в полном соответствии с природой романа («зеркало, которое наводишь, идя по дороге» — Сен-Реаль, Стендаль) появляется уже целая череда таких пунктов, соединенных пунктирами романного действия как перипетий отдельных героев. Это деконцентрирует первоначально концентричное пространство повествования (от цельного и целостного мира, который символизируют Сербинув и Калинец, до череды эпизодов, своего рода «моментальных снимков»: Польша, Швейцария, Бельгия, Англия). Тем самым эпическая метафора (обобщенный образ польской жизни на протяжении целой эпохи) двух первых частей тетралогии трансформируется в романное воспроизведение, фиксирующее в сближении современную реальность, которой лишь со временем предстоит стать эпохой.

Смена, или вернее реверсия перспективы повествования от проекции в прошлое (ч. I—II) к проекции на современность, которая предвещает историчное будущее (ч. III—IV), — оригинальная, новаторская особенность «Ночей и дней». Ощущение и предвестие исторического будущего предстает не только в полемиках и отдельных высказываниях персонажей — оно таится в самом характере изображения сюжетной современности. Тут присутствуют два восприятия (подхода, осмысления): явное (время романного действия) и скрытое (время создания романа, которое в сознании автора и читателей восстанавливает связь с временем изображенным и является следствием коренящихся там причин и истоков нынешних явлений, процессов, нерешенных проблем). Именно таким своеобразным способом в «Ночах и днях» реализована столь характерная особенность романа-эпопеи, как выяснение генезиса и смысла современности. Предвещающее ее прошлое — две первые части тетралогии, которые являют собой целостность, замкнутую завершенным временем и свершившейся историей. Отсюда и эпическая дистанция, эпическое восприятие, эпическая картина того канувшего в прошлое мира. Отсюда также и иной тип отображения той действительности, обозреваемой диахронно. Чем ближе к временам автора-повествователя движется сюжет, тем быстрее сокращается нарративная дистанция. Отсюда смена восприятия и связанного с ним характера повествовательного формирования образа действительности. Она только еще складывается, она только начинает проявляться во времени и раскрываться исторически. Отсюда синхронное ее восприятие, отсюда почти кинематографическое сближение явлений, персонажей, отношений, собственных новому, рождающемуся миру.

Первые две части замкнуты историей (конец определенной эпохи) и судьбами главных героев (смерть Богумила; логическая, психологическая и возрастная развязка жизни Барбары). Смена повествовательной перспективы влечет за собой изменения повествовательной техники: возрастает роль эпизодов, увеличивается удельный вес общественно-мировоззренческих дебатов, нарастает число новых персонажей, которые если и не влияют на развитие основных сюжетных мотивов, то способствуют масштабности отображения поисков, решений и позиций, характеризующих новые времена, а также «раскрытию» внутреннего мира главных героев. При этом с нарастанием драматичной напряженности изменяется, ускоряясь, ритм повествования, увеличивается вместе с расширением повествовательного пространства темп разворачивания сюжета.

Фокусом, в котором линии, образующие перспективу прошлого, скрепляясь, переходят в дальнейшем своем продолжении в линии, образующие перспективу будущего⁶, является сконденсированный во времени период общественных потрясений и вступления в самостоятельную жизнь поколения носителей новых воззрений на мир и судьбы нации. Эти круп-

⁶ Наглядно это можно изобразить следующим образом:



нейшие, судьбоносные для ближайшего будущего сдвиги — русско-японская война, революция 1905 г., первая мировая война. Новые герои — приходящее на смену «отцам» поколение «детей» — в первую очередь Агнешка и Марчин. Им предстоит пройти горнило мировой войны и воссоздать польскую независимость. Начало этих грандиозных событий замыкает эпическую целостность тетралогии и одновременно открывает ее перспективу на современность автора и читателей. Открывает во всей нравственной, социальной и политической сложности только теперь обнажившихся проблем, зародыши которых появились в предшествующую пору и ощущались поколением Агнешки и Марчина — романских ровесников Домбровской. И здесь, как и в «Войне и мире» Толстого, проявляется еще одна характерная черта романа-эпопеи: завершающие его части не столько стягивают воедино все сюжетные линии к логическому концу, который замыкает романную перспективу, сколько служат прологом. Он открывает перспективу на будущее, предрекая его облик и одновременно выявляя его исторические, нравственные, объективные и субъективные истоки.

Присущие произведению Домбровской родовые черты романа-эпопеи не затегают его оригинальности: своеобразно реализованные, они свидетельствуют как о видовой принадлежности «Ночей и дней», так и о творческой индивидуальности автора. Причем идейно-художественная общность видового плана обуславливается в данном случае не столько влияниями, сколько принадлежностью разных писателей к одному и тому же кругу культуры и связью с характерными именно для него ценностями, представлениями, ментальностью и самим типом философского и художественного восприятия мира, а в нем — человека. В этом отношении знаменательны некоторые видовые параллели между «Войной и миром» и «Днями и ночами». Их сближает уже дихотомичность и метафоричность самого названия, отражающего определенный тип видения человеческого бытия, которое подобно маятнику колеблется между крайними положениями (создаваемыми миром людей и миром природы), между диктатом крайних — общих для всех — внешних обстоятельств и единичной внутренней ответной реакцией индивидуального выбора, обусловленного личностным началом. Их сближает философская интерпретация и художественное изображение этого бытия как взаимосвязанной и взаимообусловленной череды разных общественных и индивидуальных состояний, находящихся в движении-изменении, которые порождают качественные перемены, связанные с естественными (природными) и человеческими (общественно-историческими) процессами, обуславливающими ритм, направленность и смысл жизни. Здесь нет ничего случайного или незначительного. Все закономерно и равновелико. Отсюда — особое внимание Толстого и Домбровской к обыденным, неброским, внешне незначительным эпизодам в жизни человека и окружающей его среды. Именно из этого складывается индивидуальная судьба личности и история народа как совокупности личностей. И поэтому именно такие обычные и частные проявления обыденности позволяют выделить и осознать общее и масштабное целое (историческую эпоху), свойственное ей мироощущение, характер культуры и психологию личности. При этом художественной идее Домбровской, как и толстовскому видению индивидуального характера и судьбы свойственна концепция «непрерывного движения личности во времени» [2, т. 15, с. 320]. Подобная мысль неоднократно высказывалась Домбровской применительно к изображению жизни в своем романе. Его замысел она охарактеризовала как «выражение моей любви к текущей и преходящей жизни», а затем подчеркивала: «важнейший для меня вопрос, как такая фаза перехода от одного образа жизни к другому отражается на двух столь разных отношениях к миру, какие представляют Богумил и Барбара» [6] (см. также [4]). Позднее Домбровская отмечала, что ее «вообще всегда интересовал процесс перехода людей из одной сферы в другую, поиски ими своего места среди ближних и в мире» [5]. Взаимосвязь характера с принимаемым в конкретных внешних обстоятельствах внутренним выбором формирует судьбу, предопределяя весь дальнейший жизненный путь в соот-

ветствии с христианской концепцией вольной воли. Так общность мировосприятия русского и польского писателей обусловила художественную и философскую близость их произведений.

Общим, в конечном итоге объединившим поиски Домбровской с толстовскими исканиями в кругу трагичных антиномий добра и зла, личности и общества, свободы и угнетения, активности выбора и пассивности соглашения, было осознание мира, связей человека, общества и природы в свете евангельского учения. Именно оно объединяет устремления Домбровской и Толстого к проникновению в суть жизни, которая лишь внешне предстает как стихийное движение. Именно оно делает общими убежденность Толстого и Домбровской в необходимости нравственной ответственности индивидуума за каждое намерение, решение, поступок. Именно оно объединяет русского и польского писателей в стремлении к целостному познанию закономерностей бытия, расщепляемого в человеческом сознании между разумом и сознанием, рациональностью и откровением.

Жизнь героев «Ночей и дней», как и героев «Войны и мира», предстает не только в движении во времени, но и в испытании временем. При таком художественно-философском решении и Толстой, и Домбровская особое значение придают способности людей понимать друг друга, чувствовать душу другого. В зависимости от этой способности находятся отношения личные и общественные, возможность достижения гармонии, установления нравственного равновесия духа отдельного человека и всего народа, достижение взаимопонимания не только индивидуумов, но и социальных слоев, обретение естественности сосуществования людей друг с другом и с окружающим миром природы.

Эта общность художественного видения отражает принадлежность двух писателей к общему типу культуры, их связь с общей системой ценностей, которые объединяют людей, несмотря на национальные, государственные, политические и конфессиональные перегородки. «Ночи и дни», как «Война и мир» создавались в «самоуверенное время» [2, т. 15, с. 227]. Поэтому-то и Толстой, и Домбровская стремились напомнить своим современникам те вечные истины, без которых человечество может утратить свою человечность. Отсюда национальное и наднациональное значение их произведений, национальный и наднациональный успех их авторов⁷.

Творчество Домбровской — высшее достижение третьего этапа польского реализма⁸ и одновременно — свидетельство непрерывности его развития. Созданный после второй мировой войны роман-эпопея Я. Ивашкевича «Слава и хвала» — творческое продолжение утвержденного в польской литературе М. Домбровской жанрового эталона и одновременно обогащенная польским опытом дальнейшая эволюция европейского реализма.

«Слава и хвала» также и продолжение во времени темы «Ночей и дней»: Ивашкевич начинает там, где кончает Домбровская, и доводит свое повествование до драматического начального периода Народной Польши. Трудно сказать, насколько литературно осозанным был этот замысел продолжить рассказ о дальнейших судьбах поколения Агнешки и Марчина — поколения Домбровской и Ивашкевича — а также последующих, рожденных уже в независимой Польше, вставших на ее защиту в 1939 г. и попавших в красные жернова после 1945 г. — судьбах, столь трагично начертанных самой историей XX в.? Насколько этот замысел был связан с личной судьбой и собственной логикой художественного пути автора «Славы и хвалы»? Кто ж теперь на это ответит... Ясно только, что именно так прошлое смыкается с настоящим, открывая перспективу в будущее.

⁷ В СССР согласно данным Всесоюзной Книжной Палаты вышло девять изданий произведений Домбровской на русском, украинском, литовском и эстонском языках. Первым русским переводом, который появился в 1928 г., был цикл новелл «Люди оттуда». «Ночи и дни» изданы у нас в 1964 г. Помимо отдельных, посвященных писательнице публикаций, в СССР вышла первая за рубежами Польши монография, посвященная всемирно известному художнику [16].

⁸ Первый этап знаменует творчество Ю. И. Крашевского, и Т. Т. Ежа, второй — Б. Пруса, Г. Сенкевича и Э. Ожешко. (О принципах периодизации см. [17].)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Липатов А. В.* Формирование польского романа и европейская литература. Средневековье. Возрождение. Барокко. М., 1977.
2. *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч., т. 1—90. М.—Л., 1928—1958.
3. *Липатов А. В.* Возникновение польского просветительского романа (Проблемы национального и общеевропейского). М., 1974, с. 36—53.
4. *Dąbrowska M.* Jak powstały «Noce i dnie». — *Kultura*, 1932, № 7.
5. *Dąbrowska M.* Kilka myśli o «Nocach i dniach», — *Ateneum*, 1938, № 4—5.
6. «Noce i dnie» wypadkiem literackim sezonu. *Maria Dąbrowska o swojej nowej powieści.* — *Wiadomości Literackie*, 1932, № 2.
7. *Чичерин А. В.* Возникновение романа-эпоса. М., 1958.
8. *Гачев Г. Д.* Содержательность формы (Эпос «Илиада» и «Война и мир»). — *Вопросы литературы*, 1965, № 10.
9. *Бахтин М.* Эпос и роман. — *Вопросы литературы*, 1970, № 1.
10. *Поспелов Г. Н.* Проблемы исторического развития литературы. М., 1972.
11. *Камянов В.* Поэтический мир эпоса. О романе Л. Толстого «Война и мир». М., 1978.
12. *Соболенко В.* Жанр романа-эпоса (Опыт сравнительного анализа «Войны и мира» Л. Толстого и «Тихого Дона» М. Шолохова). М., 1986.
13. *Kolaczkowski S.* O powieści Dąbrowskiej. — *Marchoń*, 1935, № 3.
14. *Fryde L.* «Noce i dnie». — *Droga*, 1935, № 5.
15. *Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J.* Słownik terminów literackich. Warszawa, 1976.
16. *Станюкович Я. В.* Реализм Марии Домбровской. М., 1974.
17. *Липатов А. В.* Теоретическая проблематика стыка литературных эпох. — *Советское славяноведение*, 1979, № 6.



КОВТУН Е. Н.

ФАНТАСТИКА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА И КАРЕЛА ЧАПЕКА

Стало привычным встречать имя Герберта Уэллса в списке «литературных предшественников» Карела Чапека, наряду с именами А. Франса и Б. Шоу, Г. К. Честертон и У. Морриса, Л. Толстого и Ф. Достоевского и многих других писателей. Практически в каждой критической работе о Чапеке присутствует сопоставление его произведений с романами Уэллса, отмечается сходство тех или иных аспектов: родственный характер фантастики, общность конфликтов, приемов обрисовки персонажей, параллелизм ситуаций. Большинство исследователей творчества Чапека (см. [1]) согласны в том, что его романы «Фабрика Абсолюта», «Кракатит», «Война с саламандрами» и пьеса «R.U.R.» созданы в русле уэллсовской традиции, некоторые (например, Б. Л. Сучков [2, т. 1, с. 23]), напротив, полагают, что Чапека включать в эту традицию нельзя. Наиболее обстоятельно рассмотрен вопрос о сходстве фантастических романов Уэллса и Чапека в монографии С. В. Никольского [3], где высказан ряд ценных замечаний о функциях научно-фантастического элемента в этих произведениях, типах построения сюжета и особенностях повествования в утопическом (антиутопическом) романе. Но ни в одной из критических работ подобные замечания не носят характера последовательного сопоставления творчества двух писателей. Материал, связанный с Уэллсом, как правило, привлекается для подкрепления авторских наблюдений над произведениями Чапека. В исследованиях, посвященных Уэллсу, такого сопоставления нам обнаружить также не удалось. Таким образом, вопрос о самом «механизме» восприятия и развития Чапеком социально-фантастической традиции, сформировавшейся в произведениях Уэллса, представляет собой одно из «белых пятен» на детально разработанных исследователями картах жизни и творчества писателей. Между тем, для сопоставительного анализа имеются достаточно веские основания.

Известно чувство симпатии и восхищения, которое Чапек испытывал к культуре и литературе Англии. «Я хотел бы самым настоятельным образом указать на Англию как на богатейшую сокровищницу полезных иностранных влияний, — говорил он, — для нас это просто алмазные россыпи» [4]. В числе наиболее близких ему английских писателей Чапек неизменно называл Г. К. Честертон, Б. Шоу и Г. Уэллса. О. Вочадло рассказывает об обстоятельствах знакомства Чапека с Уэллсом, состоявшегося во время поездки чешского писателя в Англию в мае—июне 1924 г.: «Во время ... разговора я случайно перехватил взгляд, полный благоговения, который Чапек устремил на Уэллса, этот взгляд удивил меня и открыл мне, как глубоко очаровал его этот внешне „обыкновенный человек“ ... в действительности бывший одним из самых глубоких умов нашего столетия» [5, с. 325]. После знакомства писателей завязалась многолетняя пе-

реписка. В одном из писем Чапек просит Уэллса написать предисловие к английскому изданию романа «Кракатит». Дважды — в 1936 и 1938 гг. — писатели встречаются в Праге. В 1935 г. Уэллс предлагает Чапеку стать его преемником на посту председателя Международного Пен-клуба.

В облике Уэллса-писателя Чапека наиболее привлекали его энциклопедические познания и многостороннее дарование; в творчестве Уэллса — устремленность в будущее. «Среди современных писателей и мыслителей, — замечает Чапек, — Уэллс выделяется необыкновенной универсальностью; как писатель он соединяет склонность к утопическим фикциям и фантастике с документальным реализмом и огромной книжной эрудицией, как мыслитель и толкователь мира с поразительной глубиной и самобытностью охватывает всемирную историю, естественные науки, экономику и политику. ... Этот всеобъемлющий исследователь одновременно является одним из самых настойчивых реформаторов человечества — он не стал догматическим вожаком и пророком, но избрал роль поэтического открывателя путей в грядущее» [2, т. 7, с. 391—392]. Сказанное верно и для самого Чапека. При сопоставлении его произведений с романами Уэллса прежде всего обнаруживается общность проблематики. Вслед за Уэллсом Чапек обращается к рассмотрению вопросов о воздействии научно-технического прогресса на социальные структуры, о нравственности в век техники, о судьбах человеческой цивилизации. На проблемном сходстве основывается концепция о непосредственном влиянии на творчество Чапека произведений английского фантаста. Так, например, О. Вочадло утверждает: «Влияние утопий Уэллса на автора „R.U.R.“ и двух романов об атомной энергии очевидно» [5, с. 348]. Гипотеза о прямом влиянии заманчива, тем более, что налицо контактные связи, можно поискать заимствования типа: марсиане Уэллса — саламандры Чапека и т. д. Но дело, вероятно, обстоит сложнее. На наш взгляд, общность проблематики и сходство поэтики произведений Уэллса и Чапека обуславливается не прямым влиянием одного писателя на другого, а, скорее, влиянием эпохи, в которую были созданы эти произведения, и ситуаций в научно-фантастической литературе того времени. Кроме того, подобное сходство явилось в немалой степени результатом определенной близости мировоззрений двух писателей и оценок ими действительности — той близостью, которая рождала, в свою очередь, общность художественных задач.

Во второй половине XIX — начале XX в. в мировой литературе наблюдается процесс возникновения научной фантастики. Обычно считается, что она впервые проявилась в достаточно сформировавшемся виде у Жюль Верна. В его произведениях сюжет строится на развитии научно-технической гипотезы, они проникнуты пафосом торжества науки, раскрывающей перед человечеством бесконечные возможности материального прогресса. В книгах Жюль Верна и его последователей научно-фантастический сюжет накладывался обычно на структуру романа путешествий (В. Обручев) или приключенческого (Х. Гернсбек, Е. Парнов) романа. В конце XIX в. Уэллс, а затем Чапек, Степлдон, Хаксли, внесли в научно-фантастическую литературу социально-философскую проблематику, в результате чего научно-фантастическое допущение утратило доминирующее значение хотя и сохранило самостоятельную ценность. Так была образована новая «ветвь» научной фантастики — фантастика социальная.

Более вероятным, однако, представляется, что мы имеем дело не с различными стадиями одного и того же процесса, а скорее с двумя процессами, протекающими параллельно. При обсуждении вопроса о возникновении социальной фантастики необходимо учитывать не только прямые, но и косвенные последствия научно-технического прогресса. Помимо действительного улучшения условий жизни и расширения познавательных возможностей человека научный прогресс обусловил собой новый этап в осмыслении мира — в единстве его прошлого, настоящего и будущего. По словам одного из героев Уэллса, «мы сломали рамки настоящего ... мы заглянули в прошлое, стали ворошить век за веком и все дальше заглядывать в будущее» [6, т. 12, с. 508]. В литературе XX в. личность осознается не только сама по себе, но и как часть единого человеческого сообщества.

«Все люди — животные общественные, — пишет Уэллс, — и их судьбы теперь связаны в одну общую судьбу. Огромное колесо человеческой судьбы вращается — и притом все быстрее и быстрее — для того, чтобы либо окончательно сбросить человеческий груз в пустоту, либо, если груз этот окажется достаточно устойчивым, вознести его ... на новую ступень бесконечно более могучего существования» [6, т. 15, с. 308]. Потребность целостного рассмотрения истории и перспектив развития человечества обусловила, как заметил Томас Манн, отход от «житейски-повседневного», стремление «чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане» [7, т. 9, с. 176—177]. В соответствии с этой потребностью происходит привнесение научной проблематики (и не только естественных, но прежде всего гуманитарных наук — истории, философии, социологии) в традиционную социально-утопическую и социально-критическую литературу, представленную в Европе именами Вольтера, Д. Свифта, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Сирано де Бержерака. Один из первых образцов соединения научно-фантастического допущения жюльерновского плана с сатирой мы встречаем у Эдгара По. В послесловии к своей новелле «Необыкновенное путешествие Ганса Пфааля» он связывает ее своеобразие с попыткой «достичь правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы» [8, с. 117]. Условный характер научно-фантастической мотивировки подчеркивается его сатирическим «разоблачением» в конце новеллы.

Иными словами, рождение социально-философской фантастики происходит не «внутри» научно-технической, но наряду с ней, на одной с нею почве. С этой точки зрения Г. Уэллс является прямым последователем не Жюль Верна, а скорее Свифта, о чем он сам упоминает в предисловии к сборнику «Семь знаменитых романов»: «Мое давнее глубокое и не остывающее с годами восхищение Свифтом можно заметить в этом сборнике на каждом шагу; оно особенно сказалось на моей склонности обсуждать в романах современные политические и социальные проблемы» [6, т. 14, с. 351].

В современной литературе научно-техническая и социально-философская фантастика существуют параллельно, например, в творчестве А. Кларка и Ф. Хойла (научно-техническая), С. Лема, А. и Б. Стругацких (социально-философская). Непереходимой пропасти между ними нет, но есть важные различия, прежде всего — в функциях самого фантастического допущения. В научно-технической фантастике мотивировка разворачивается с целью либо научного прогноза, либо проверки научной гипотезы или ее популяризации и, следовательно, имеет самостоятельное значение. В социально-философской фантастике подобное допущение изначально является не целью, а средством, привлекаемым для анализа современного состояния общества, изучения перспектив или предупреждения об опасности развития некоторых отрицательных тенденций. Этим объясняется «псевдонаучный», а иногда и чисто «декоративный» характер этого допущения. «Уэллс стремится не к сковывающему воображение строго научному обоснованию своего фантастического вымысла, — отмечает Н. Черная, — а лишь к его внешнему наукообразию и, прекрасно владея аппаратом современного научного мышления, всегда с успехом достигает желаемого эффекта. Научность фантастики Уэллса сплошь и рядом оказывается условной» [9, с. 30]. По словам Уэллса, его произведения «удерживают читателя благодаря художественной иллюзии, а не доказательной аргументации» [10].

Какие же цели ставила перед собой рождающаяся на рубеже XIX—XX вв. социально-философская фантастика и какие задачи решала? Для ответа сопоставим философско-эстетические концепции ее основоположников — Г. Уэллса и К. Чапека. При всех несомненных различиях эти концепции содержат немало общего.

В своем творчестве оба писателя исходят из понимания социального несовершенства окружающего их мира и необходимости значительных изменений. «Я движим глубоким непоколебимым убеждением, — пишет Уэллс, — что моя собственная жизнь и жизнь вокруг меня далеко не так хороша, как она могла бы и должна была быть» [6, т. 15, с. 386]. В ро-

манах Уэллса «В дни кометы», «Война в воздухе», «Люди как боги», «Необходима осторожность» и многих других так же, как и в романах Чапека «Фабрика Абсолюта», «Кракатит», «Война с саламандрами» последовательно рассмотрены различные стороны современного авторам общественного строя. При этом критерием оценки общества является степень его внимания к человеку. Симптоматично, что у истоков социально-философской фантастики, которую считают разновидностью научной, и чье возникновение связывают с прогрессом техники, стоят два великих писателя-гуманиста. Уэллс и Чапек приходят к сходным выводам: общество развивается с тревожным креном в сторону индустриального совершенствования в ущерб совершенству социальному и нравственному. «За столет мы во много раз повысили скорость и производительность человека, — с горечью замечает Чапек, — но вряд ли мы можем похвастаться тем, что в такой же мере повысили его образованность или уверенность в завтрашнем дне...» [2, т. 7, с. 462]. Уэллс еще более категоричен: «Технический прогресс опередил интеллектуальное и социальное развитие общества, и мир со своими нелепыми обветшалыми знаменами, со своим убогим национализмом, грошовой прессой и еще более грошовыми страстями... был застигнут врасплох...» [6, т. 4, с. 186]. «Я пытался показать, что даже ужасы войны — всего лишь часть главного бедствия, которое возникает в результате разобщенности людей и отсутствия порядка в обществе при все большем развитии техники» [6, т. 15, с. 384].

Писатели едины в своем стремлении изменить мир, но расходятся в способах этого изменения. Созданная К. Марксом теория социальной революции одинаково неприемлема для обоих, так как связана в понимании Уэллса и Чапека с неоправданным насилием и с угрозой веками накопленному человечеством фонду культуры. В марксистской философии писатели увидели лишь набор догматических истин, суживающих многообразие жизни, сводящих ее к «леденящей доктрине классового господства» [11, с. 240]. Творческая природа марксизма не принималась во внимание. Впрочем, по словам С. К. Неймана, «...братья Чапеки наверняка не заглянули в подлинного Маркса» [12]. Уэллс же, хотя и полемизирует в книге «Россия во мгле» с «большевистской доктриной некоего унылого „золотого века“» [6, т. 15, с. 351], все же во многом разделяет с марксизмом коммунистический идеал (роман «Люди как боги»). Протест писателя вызывает лишь попытка «внезапного и насильственного» слома существующей системы, что повлечет за собой, по его мнению, «глубокое экономическое расстройство, нужду и нищету» [6, т. 5, с. 342].

Уэллс и Чапек являются сторонниками постепенных мирных изменений. «Великая Революция» Уэллса бескровна. Защищая свою позицию, он писал: «Мы, англичане, парадоксальный народ — одновременно и прогрессивный, и страшно консервативный, сохраняющий старые традиции; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов... Консерваторы, либералы и отъявленные социалисты ходят друг к другу в гости и за десертом обсуждают те уступки, которые они могут сделать один другому ...» [6, т. 15, с. 298—299]. Путь спасения человечества видится Уэллсу в создании мирового коллективного государства на строго научной основе. Строительство такого государства предполагает: установление международного контроля над политикой и экономикой усилиями интеллигенции и передовой части так называемых «просвещенных капиталистов»; перераспределение общественных богатств в пользу рядовых членов общества; ограничение частной собственности вплоть до ее уничтожения; создание условий для свободного развития личности путем реорганизации системы воспитания. Цели эти близки и Чапеку. Вспомним его слова: «...верую в обобществление средств производства и организацию производства и потребления, в конец капитализма, в право для каждого на жизнь, благосостояние и свободу духа, верую в мир, соединенные штаты мира и равенство наций, верую в гуманизм и демократию, в человека» [13]. Но методы достижения этих целей у Чапека не столь радикальны. Он убежден, что борьбу за лучший мир необходимо начинать в рамках уже существующего общества, и это

общество должно повернуться лицом к человеку: «Нельзя откладывать проблему бедняков до установления какого-то нового строя: если им вообще нужно помогать, то это надо начать уже сегодня» [11, с. 241]. Ростки будущего в современном мире видит Чапек в тех общечеловеческих ценностях — любви, юморе, справедливости, милосердии, — без которых нельзя существовать. Дальнейшее развитие человечества должно осуществляться на основе нравственного воспитания. Здесь смыкаются концепции двух писателей: новый мир для каждого из них неотделим от нового человека.

Еще в раннем творчестве Уэллс и Чапек задаются вопросом о сущности понятия «человек». Романы Уэллса 1890-х годов — «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров» — и пьесы Чапека «R.U.R.», «Из жизни насекомых», «Средство Макропулоса» представляют собой своеобразные философские эксперименты, цель которых определить, что же делает человека человеком. Рассматриваются проблемы соотношения в человеческой личности «животного» и «духовного» начал, инстинкта и разума, эгоизма и сдерживающего нравственного закона. На основе этих наблюдений происходит формирование в сознании писателей представления о Человеке с большой буквы (в романе «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» Уэллс назовет его «настоящим человеком»), т. е. личности, во внутреннем мире которой гармонично сочетаются интеллект, нравственность и культура. Смысл жизни такой личности, обладающей значительным творческим потенциалом, заключается в познании мира и служении людям. «Чем больше ты любишь мир, — говорит один из героев романа „Жизнь и творчество композитора Фолтына“ — с тем большим усердием ты пробиваешься к полному познанию его таинственно-совершенного бытия» [2, т. 3, с. 636]. Уэллс в киноповести «Облик грядущего» формулирует задачи человечества так: «Для человека нет отдыха и нет конца. Он должен идти вперед от победы к победе, познать нашу маленькую планету... и все законы духа и материи, которые стесняют его. Потом полет на планеты, окружающие его, и наконец в бесконечное мировое пространство, к звездам. И когда в конце концов он покорит все дучины пространства и все тайны времени, он все еще будет у начала» [6, т. 13, с. 513].

Но Уэллса и Чапека интересует не столько сам идеальный герой, сколько соотношение этого образа с характером их современника — «обыкновенного» или «маленького человека».

Наиболее распространенный тип героя в произведениях Уэллса и Чапека — это представитель так называемого «среднего слоя» общества, из которого происходили и сами писатели. «Ленин после единственного разговора со мной сказал, что я неисправимый мещанин, — с улыбкой рассказывал Уэллс. — В этом отношении Ленин показал себя трезвым наблюдателем... Я был человеком среднего класса, мелким буржуа, как это называют марксисты» [6, т. 15, с. 143]. Немалой заслугой Уэллса и Чапека можно считать тот факт, что они ввели представителя этого класса в современную фантастическую литературу и утвердили его в ней с большой психологической убедительностью. До Уэллса в мировой фантастике (будь то утопический или «готический» романы) был распространен тип героя скорее исключительного, обладающего теми или иными выдающимися качествами. Сказанное не относится, конечно, к сатирической фантастике, для которой типичны именно «обыкновенные» герои (Гулливвер Свифта, пан Броучек Сватоплука Чеха). Но для сатирической фантастики верно парадоксальное утверждение: наиболее выдающимся качеством ее персонажей является именно их усредненность. В научной фантастике жюльерновского плана сложился тип героя-ученого, бескорыстного служителя науки. Принято считать, что дань этому типу отдал и Уэллс (доктор Моро, физик Гриффин). Иногда такого героя находят и у Чапека, называя Россума-старшего или Прокопа. Но, на наш взгляд, функция этих персонажей не столь однозначна.

Уэллс и Чапек стремятся воссоздать в своих произведениях целый мир «обыкновенного человека», ограниченный пределами его семьи («Вой-

на с саламандрами» Чапека) или его улицы («Проспект Утренней Зари в романе Уэллса «Необходима осторожность») и в то же время расширяющийся до масштабов всего человечества, когда в этот мирок властно вторгается действительность «технического века». Не случайно персонажам типа пана Повондры и мистера Барнстейпла авторы доверяют функции повествователей и комментаторов фантастических событий: их герой становится судьей происходящего и одновременно объектом психологического исследования писателей. В сознании «обыкновенного человека» Уэллс и Чапек находят многие опасные черты, часто становящиеся доминирующими: корыстолюбие и трусливое благоразумие, ограниченность, нежелание размышлять и в то же время абсолютная уверенность в собственной правоте. Совокупность этих качеств определяет облик обывателя, чью точную характеристику дает Уэллс в романе «Война миров»: «Все эти люди... ни на что не годны. У них нет мужества, нет силы, нет гордости... Они вечно торопятся на работу, я видел их тысячи. С завтраком в руках они бегут, как сумасшедшие, думая только о том, как бы попасть на поезд, в страхе, что их уволят, если они опоздают. Работают они автоматически, не вникая в дело; потом торопятся домой, боясь опоздать к обеду; вечером сидят дома, опасаясь проходить по глухим улицам... А по воскресеньям они боятся погубить свою душу» [14]. Девиз обывателя — «Необходима осторожность!» — Уэллс выносит в заголовок одного из своих последних романов, представляющего собой трактат об истории, биологической сущности и повадках мещанина. Такой же смысл вкладывают Чапек и Уэллс в фантастические образы роботов и саламандр, зверей доктора Моро и дикарей острова Рэмполь.

Хотя обыватель по своей природе труслив и безынициативен, он может представлять серьезную социальную опасность, объединяясь с себе подобными. «Старый мир, к которому я принадлежу, — говорит мистер Барнстейпл, — был и, увы, еще остается миром Толпы, миром отвратительных скоплений безликих, зараженных бесчисленными болезнями индивидов» [6, т. 5, с. 348]. Толпа с ее стадным инстинктом ненавистна писателям, ибо она отрицает понятие «Человек». В романе «Война с саламандрами» Чапек доводит идею толпы до ее логического завершения, иронически прославляя устами Вольфа Мейнерта единую «всемирную общину», «всеобъемлющий мир саламандр», означающий конец «тысячелетней агонии человеческого рода» [2, т. 2, с. 634]. Именно однородность, безликость толпы делает ее послушным орудием в руках выдвинувшихся из ее среды диктаторов и «интеллектуальных эгоистов» фашистского толка.

Писатели неизменно подчеркивают, что формирование «настоящего человека» невозможно при отсутствии хотя бы одной составляющей: разума, нравственности, культуры. Даже Уэллс, так веривший в Науку, осознает ущербность «интеллекта без морали». Моро, Гриффин, марсиане в романах Уэллса — иная ипостась «обыкновенного человека», гипертрофированное развитие присущих ему эгоизма и тщеславия, склонности к переоценке собственного «я» (см. [15]). Наряду с темой бескорыстного служения науке, звучащей в ранних произведениях Уэллса и Чапека (Кейвор в романе «Первые люди на Луне», Россум-старший в драме «R.U.R.»), возникает не менее важная тема нравственного аспекта научных открытий. Моро, Гриффин, Россум — ученые, которых не заботит «гуманность» или «антигуманность» собственных изобретений и которые поэтому становятся прямыми или косвенными виновниками страданий живых существ.

И все же понятие «обыкновенный человек» в творчестве Уэллса и Чапека не сводится к понятию «обыватель», которое, по сути, определяет лишь одну сторону его личности. В характере своих героев писатели видят и иные черты. Изучая «обыкновенную жизнь» (романы Уэллса «Кипс», «В дни кометы», «Сон» и другие, «Кракатит», «Рассказы из одного и другого карманов», философская трилогия Чапека), они открывают в ней взлеты чувств и творческие порывы, вечное стремление к добру, способность любить и сострадать. «Даже самая обыкновенная жизнь — уже

бесконечна, и неизмерима ценность любой души», — заключает Чапек [2, т. 3, с. 390], воспринимая «обыкновенного человека» как носителя духовного и культурного опыта предшествующих поколений. Чувство справедливости и ответственности героя за события, происходящие в мире, выделяют писателя в дни наступления фашизма: пан Повондра в конечном счете приходит к пониманию своей вины перед человечеством, следующий шаг на пути становления активной жизненной позиции делают Гален и Мать. «Обыкновенный человек» преодолевает в себе обывателя и поднимается до осознания общечеловеческих интересов. Аналогичный путь проходят и герои Уэллса: если Прендик и Бэдфорд лишь рассуждают о несовершенстве мира, то мистер Барнстейпл решает участвовать в его переделке.

Конечно, эти персонажи — еще не воплощение идеала, но важно то, что «обыкновенный человек» в понимании Уэллса и Чапека не безнадежен. Нужно лишь разглядеть в нем хорошее и помешать проявиться плохому, для чего необходимы любовь и понимание. «Современному миру не требуется ненависть, — пишет Чапек, — ему нужна добрая воля, нужны согласие, сотрудничество и гораздо более добросердечный моральный климат; я думаю, что даже немного самой обычной любви и сердечности способны еще творить чудеса» [11, с. 242]. Вот почему в изображении писателями своих героев немало сочувствия и юмора. «Я считаю, что Эдвард-Альбер не столько гадок, сколько жалок, — замечает Уэллс по поводу своего, казалось бы, самого несимпатичного персонажа, — а в общем, все мои герои нравятся мне такими, каковы они есть... Любить без иллюзий значит быть застрахованным от разочарований» [6, т. 15, с. 300]. Объектом критики писателей становится не столько сам «обыкновенный человек», сколько общество, его породившее. «Он таков, каким его сделала наша цивилизация», — этими словами завершает Уэллс свое исследование психологического облика обывателя. Поэтому именно с изображением современной цивилизации связана в произведениях Уэллса и Чапека стихия сатиры.

Ставя перед собой задачу целостного изображения современного общества, эти писатели обращаются к художественной структуре утопии, видоизменяя ее и вводя в ее состав новые элементы. Эти изменения позже стали характерными для социальной фантастики XX в. в целом.

Новаторство Уэллса и Чапека особенно наглядно проявляется при сопоставлении их произведений с классическими утопическими образцами.

Классическая утопия сложилась в литературе XVI—XIX вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла, Э. Кабе) как особая художественная структура, обладающая непререкаемыми признаками:

- воплощение идеальной общественной системы, введение в повествование социального и философского анализа;

- изображение будущего, находящегося в противоречии с настоящим (вместо хронологической удаленности может выступать пространственная).

Утопия, как правило, строилась в форме монолога путешественника или его диалога с провожатым. Сюжет классической утопии статичен (чаще всего он представляет собой описание экскурсии рассказчика по идеальному миру), характеры едва намечены. Утопия, таким образом, тяготеет более к философскому трактату, чем к художественному произведению.

На рубеже XIX—XX вв. в связи с приближением нового столетия и борьбой различных философско-экономических течений утопия переживает новый расцвет. Близки классической схеме утопические романы Э. Д. Бульвер-Литтона «Грядущая раса», Э. Беллами «Взгляд назад», У. Морриса «Вести ниоткуда». Но уже романы Уэллса 1890-х годов демонстрируют отход от этой схемы. Сохраняя важнейший принцип утопии — глобальный масштаб изображения и социальный анализ, Уэллс и Чапек разрушают присущую старой утопии «трактатность». Фантастическое допущение сообщает сюжету динамику, рассказ об увиденном сменяется непосредственным действием. В утопическом произведении

появляется «живой» герой, психологически мотивированный характер (Барнстейпл — «Люди как боги», Повондра, Ван-Тох — «Война с саламандрами»). Вместе с новым героем в «положительную» утопию приходит конфликт, которого она не знала до сих пор. Так, в романе Уэллса «Люди как боги», в сценарии «Грядущие дни» намечен конфликт нового и старого миров. Но, пожалуй, наиболее важным следует признать тот факт, что в социальной фантастике Уэллса и Чапека одновременно присутствуют, взаимообогащая друг друга, утопическая и социально-критическая (сатирическая) традиции, как это показал С. В. Никольский [3]. Собственно, резкой границы между этими традициями не существовало и ранее. Критический элемент изначально свойственен утопии, он возникает при сопоставлении идеала с действительностью. С другой стороны, сатира нередко маскируется под утопию (вспомним государство гуингмов у Свифта или «Государства и империи Луны» Сирано де Бержерака). Но именно в социальной фантастике был осуществлен синтез этих традиций. В утопическом романе появился гротеск, усилилась его критическая направленность. Это позволило ему «переменить знак» — из утопии превратиться в антиутопию, роман-предупреждение. Фантастическая образность в произведениях Уэллса и Чапека стала средством воплощения антиидеала, с особой наглядностью демонстрирующего читателю опасность развития негативных общественных тенденций современности [2, т. 2, с. 677].

Таким образом, социальная фантастика XX в. в лице ее основоположников Уэллса и Чапека, вырастая из утопии и философской сатиры свифтовского плана, органически вбирая в себя их отдельные элементы и функции, с момента своего возникновения вырабатывает новые художественные принципы, формулирует новые задачи. В основе социально-фантастических произведений Уэллса и Чапека лежит анализ современности и ее критика с общегуманистических позиций. Не ограничиваясь исследованием настоящего, писатели-фантасты делают попытки осмысления пройденного человечеством пути и рассматривают позитивные и негативные варианты будущего. Ключевой проблемой социально-философской фантастики стала проблема существования человека в быстро меняющемся мире научных и технических революций, проблема сохранения им человеческой сути и, наконец, проблема воспитания нового человека, которому предстоит стать творцом гуманистического общества.

В заключение отметим, что вопрос о художественной специфике фантастики Уэллса и Чапека приобретает в наши дни новое звучание. Остро стоящий вопрос о гуманизме, признании приоритета общечеловеческих ценностей заставляет вновь обратиться к нравственному и творческому наследию писателей. Кроме того, приближающийся рубеж веков и идущие дискуссии о путях дальнейшего развития общества вызывают появление новых социально-фантастических произведений, и изучение опыта основоположников социальной фантастики может оказаться полезным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Buriánek F.* Karel Čapek. Praha, 1988, s. 264; *Matuška A.* Člověk proti zkáze. Pokus o Karla Čapka. Praha, 1963, s. 23—24; *Berňштейн И.* Карел Чапек. Творческий путь. М., 1969, с. 37; *Кузнецова Р.* Слог Карела Чапека и природа гротеска в «Войне с саламандрами». — В кн.: *Кузнецова Р.* Чешский межвоенный роман. Эволюция жанра и стиля. М., 1980, с. 227; *Малевич О.* Карел Чапек. Критико-биографический очерк. М., 1989, с. 128—129.
2. *Чапек К.* Собрание сочинений в 7 т. М., 1974—1977.
3. *Никольский С.* Карел Чапек — фантаст и сатирик. М., 1973.
4. *Čapek K.* Místo pro Jonathana! Praha, 1970, s. 67.
5. *Vošadlo O.* Anglické listy Karla Čapka. Praha, 1975.
6. *Уэллс Г.* Собрание сочинений в 15 т. М., 1964.
7. *Манн Т.* Собрание сочинений в 10 т. М., 1959—1961.
8. *По Э.* Полное собрание рассказов. М., 1970.
9. *Черная Н.* В мире мечты и предвидения. Киев, 1972.
10. *Уэллс Г.* Невероятное в повседневном. — Вопросы литературы, 1963, № 9, с. 174.
11. *Чапек К.* Почему я не коммунист? — Иностранная литература, 1989, № 9.
12. *Neuman S. K.* Paměti a drobné prozy. Praha, 1951, s. 54.
13. *Čapek K.* O všech obespůch čili Zoon politikon. Praha, 1932, s. 136—137.
14. *Кагарлицкий Ю.* Герберт Уэллс. М., 1963, с. 289.
15. *Уэллс Г.* Повести и рассказы. Киев, 1956.



БАЛТИЙСКАЯ ГИДРОНИМИЯ И ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОГО И СЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА

Вопрос о границах распространения балтийской гидронимии, важный и *per se*, и как ключ к изучению этнолингвистической и этногенетической картин древней Восточной и Центральной Европы, изучается уже не одно десятилетие. Не вдаваясь здесь в библиографию проблемы, напомним лишь о последнем по времени качественном прорыве в этой области — работах В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева [1; 2], радикально изменивших сложившиеся представления о южных рубежах балтийской гидронимии в Поднепровье. Достаточно определенны сегодня и сведения об ареалах балтийских гидронимов к северу от Днепра, в частности, в бассейне Оки, а также на территории Польши — в ее северо-восточных районах. Вместе с тем, проблема балтийской гидронимии в целом остается неразрешенной до тех пор, пока нет однозначного ответа на вопрос о ее юго-западных и западных границах. При этом, как нетрудно заметить, изучение распространения балтийских речных названий в этих направлениях непосредственно затрагивает и такие насущные проблемы, как исходный ареал расселения балтов и славян (в конечном же счете, и вопрос о соотношении балтийского и славянского элементов в древности) и место балто-славянских диалектов в общей языковой ситуации дивергировавших индоевропейских языков в Центральной Европе.

Сегодня мы, бесспорно, располагаем некоторыми данными, позволяющими думать, что западные и юго-западные границы балтийской гидронимии располагались значительно дальше и охватывали большее пространство, чем обычно принято считать. Что касается западной границы балтийской гидронимии, то ею, во всяком случае, не служила Висла: это с определенностью вытекает из ряда сопоставлений, содержащихся в работах В. Н. Топорова, в частности, в [3]. Что касается юго-западных рубежей балтов, то прямые указания на необходимость продвинуть их дальше, к Прикарпаты, находим, например, в топонимических исследованиях А. П. Непокупного [4]; на то же могут указывать и свидетельства содержащего (пра)венгерские заимствования польско-«ятвяжского» словарика [5]. Тем не менее, поднятые вопросы нуждаются в последовательной гидронимической проработке. Попытка такого исследования предпринята нами в [6; 7], здесь же мы намерены подытожить полученные результаты и, ограничив число конкретных примеров чисто иллюстративными целями, предложить общую картину.

Балтийские гидронимы к западу от нижнего течения Вислы насчитывают, если принимать в расчет только сам бассейн Вислы, около полусотни названий, которые более или менее равномерно распределены между Вислой и Брдой, а также западнее Брды. Учет небольших рек, впадающих в Балтику на пространстве между Вислой и Одером, а также правых при-

токов нижнего течения Одера несомненно заставит отнести границу балтийской гидронимии еще дальше на запад. На указанной территории обнаруживаем такие правдоподобные балтизмы, как, например, Brzuno (ср. лит. Briāunis [8, s. 71] и, далее, апеллатив briāunà 'выступ'), Deka (ср. лтш. Daikas, Daiks, Daik-ezers [9, t. 1, s. 189]), Gduna (ср. лит. Gudūnas [8, s. 125]; далее о балтийской основе *gud-, особенно характерной для низовьев Вислы, см. [3, т. II, с. 323 и сл.]), Gubel (ср. лит. Gaubelio km. [10]), Karsin, Karsino (об этих названиях см. [3, т. III, с. 235]), Mintawa (идентично литовскому названию Елгавы Mintauja, см. далее [11]), Stobno (ср. лит. Stābė, Stabinė [8, s. 313], далее на апеллативном уровне — прус. stabis 'камень'), Tobolka (ср. лит. Tabālis, Tobōlis [8, s. 338—339]), Warszyn (ср. лит. Virš-upis, viršūs [8, s. 387]). Таким образом, этот ареал оказывается естественным продолжением того района балтийской гидронимии, который фактически совпадает с территорией северо-восточной Польши.

Балтийская гидронимия бассейна Варты на севере примыкает к очерченному выше ареалу нижнего Повислья и далее тянется на юг вплоть до междуречья верхней Варты и Пилицы. Около половины балтийских гидронимов, число которых не превышает трех десятков, обнаруживается именно в верхнем течении Варты, в том числе: Butra (ср. лтш. Butra, Butreji [3, т. I, с. 271]), Kotara (ср. лит. Katārė [8, s. 150]), Kurp (ср. лит. Kūrpės, Kurpaī, прус. Kurpie [3, т. I, с. 322 и сл.]), Leta (ср. лит. Leità, Leītė [8, s. 185]), Łosonia (при лит. Alsūnė [8, s. 40]), Margesz (ср. лит. Margà, Mārgis и т. п. [8, s. 205]), Nart (ср. лит. Nařtas [8, s. 224]), Pisia (семь гидрообъектов, ср. прус. Pissa, лит. Pisà, лтш. Pis-upīte [8, s. 260]), Rzekta (тождественно днепровскому балтизму *Ректа*, *Ректа*, о котором см. [1, с. 204; 2, с. 166]) и ряд других, подробно обсуждаемых в нашей работе [6]. Заметим, что сегодня эта работа нуждается в некоторых дополнениях, поскольку к числу балтизмов бассейна Варты можно с достаточной уверенностью отнести также Bosia [12, s. 24] (ср. лит. Bošà [8, s. 69]), Kowla [12, s. 72] (ср. лит. Kāuliai, лтш. Kauls, Kauli [3, т. III, с. 278]), Mękwa [12, s. 89] (из балт. *menk-uva; ср. лит. Meĩkas [8, s. 211] при meĩkas 'маленький') и Maskawa, Moskawa (с далеко ведущими этимологическими импликациями, касающимися и истолкования названия Москвы).

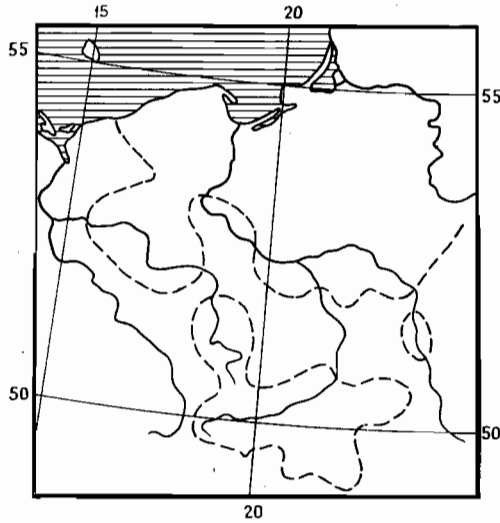
Южное продолжение основного балтийского ареала на территории северо-восточной Польши — сравнительно узкая полоса, протянувшаяся от верховьев Кшны до бассейна Бзуры. Здесь обнаруживается более двадцати балтийских речных названий, естественным центром которых оказывается зона слияния Нарева с Бугом и последнего — с Вислой. Это обстоятельство, как отметил в беседе с автором В. Н. Тощоров, позволяет думать о балтийском происхождении названия Warszawa, которое, возможно, связано с рассмотренным выше Warszyn и, далее, с балт. *virš- 'верх, верхний'. К балтизмам данного ареала могут быть, среди прочих, отнесены Linda, Lidzianka (ср. прус. Linde-lawke, Linden-medie [13, S. 39] при lindan 'долина'), Mroga (неотделимо от днепровского *Морожа*, см. далее [1, с. 196]), Nizia (ср. лит. Nižis [8, S. 231]), Pisia (см. выше), Sumin (ср. прус. Sumyn [13, S. 176]).

Компактный ареал балтийской гидронимии в Побужье начинается чуть севернее г. Влодава и тянется на юг, по обе стороны Буга, до Хрубешува. Здесь обнаруживается чуть более десятка балтийских речных названий, в том числе, например, Gdola (ср. лит. Gudėl-upis, Gudėliai [8, s. 126], далее к балт. *gud-), Neretwa (ср. [14]), Pulmo (см. [15]), Rata (ср. лит. Ratà, Rāt-upis, лтш. Rata, Rat-upė [8, s. 273]), Solokija (ср. лит. Sàlakas [8, s. 287]).

Бескидско-малопольский ареал балтийской гидронимии, по-видимому, очерчивает южную границу распространения балтийских речных названий. Значительный по площади, этот ареал охватывает нижнее течение Вислы и бассейн Сана и насчитывает более сотни балтизмов. На северо-западе он смыкается с балтийским ареалом нижней Варты, на севере и северо-востоке проходит через Люблинскую и Малопольскую возвышенности. Здесь мы ограничиваемся лишь небольшим количеством при-

меров: Balinianka (ср. лит. Balina, Balinis [8, s. 56], лтш. Balaņa, Balinava [9, t. 1, s. 77], прус. Balyngen [3, t. I, c. 184]), Burda (ср. прус. Burden, Burdeyn [3, t. I, c. 265]), Domonie (ср. лтш. Dāmani [9, t. 1, s. 201]), Kawna (ср. лит. Kaūnas, Liwa [16]), Medyka (ср. лит. Medikis [8, s. 208], апеллатив mēdė 'лес'), Nida (ср. лит. Niedà [8, s. 230], прус. Nyda, Neyde [13, s. 108]), Panna, Paniusza (о балтийской этимологии см. [6, s. 115]), Riwa (ср. лит. Rievà, лтш. Rieva [8, s. 277], при лит. rievà 'скала, отмель'), Šwidry (вместе с днепровским *Свидера* — к лит. švaidrūs 'блестящий, сияющий' [1, с. 206]), Tartak (ср. лит. Tartokas [8, s. 341]), Ulga (ср. лит. Ilga [8, s. 129] к балт. *ilg- 'длинный, долгий'), Wiergz (ср. лит. Vergrūs, лтш. Vergrī [8, s. 372]).

Изложенный выше материал в обобщенном виде представлен на схеме. Мы можем теперь приступить к обсуждению полученных результатов.



Ареал распространения балтийских гидронимов
(Варта и Висла)

Основной и главный вывод, который можно сделать из совокупности рассмотренных данных, заключается в том, что область распространения балтийской гидронимии (и, с понятными оговорками, балтийских племен) значительно больше, а границы ее на западе и на юге продвинуты значительно дальше, чем это считалось ранее. Однако, принимая этот вывод, мы не можем не задавать себе вопроса и о том, какая часть этой области может рассматриваться как исходный ареал расселения балтов, а какие районы связаны с последующим их распространением. В связи с этим заслуживает особого внимания тот факт, что описанный выше бескидско-малопольский ареал граничит на востоке с областью верхнего Поднестровья, где господствуют гидронимы западнобалканского происхождения, вклинивающиеся далее на восток в южные районы распространения днепровских балтов. Это обстоятельство делает весьма вероятным вывод о том, что Бескиды и верховья Сана — древний рубеж между балтами и западнобалканскими, иллирийскими племенами. Вместе с тем, западная и юго-западная границы балтийской гидронимии неплохо согласуются с контурами расселения германцев и кельтов.

При этом (восточно)германские речные названия в небольшом количестве есть и на исследуемой территории, где они располагаются — в бассейне Варты — по линии от Гвды до Просны (см. [6]), а в единичных случаях также восточнее: примером может служить озеро Seluble в бассейне Влодавки, которое мы объясняем в связи с германским названием серебра (гот. silubr и под.).

Глубоко на очерченной выше территории балтийской гидронимии обнаруживаются речные названия, статус которых определяется достаточно расплывчатым термином «древнеевропейские» или «западнобалканские».

Речь идет о таких гидронимах, как *Barbara* (см. подробно [2, с. 159]), которые фиксируются далеко на севере, в районе Кшижа, хотя в массе своей и тяготеют к бескидско-малопольскому ареалу. Для взвешенного анализа этноязыковых особенностей последнего, бесспорно, немаловажно и уточнение источника самого названия *Бескиды*. Из конкурирующих этимологий этого оронима (см. [2, с. 281; 17]) предпочтительной кажется связь с алб. *bjeshkë* < **beskā*. На истинную конфигурацию языкового ареала, связанного с *Бескидами*, указывает, по нашему убеждению, речное название в бассейне верхней Обры — *Beska, Beszka* [12, с. 20] из того же источника. В этих единичных названиях следует, видимо, усматривать следы еще одного древнего этноязыкового ареала, отличного от «западнобалканского» и связанного, вероятно, с праалбанским.

Как видно из схемы, балтийские речные названия на территории Польши расположены таким образом, что они не заходят на довольно значительную по площади зону, на юге захватывающую часть Люблинской возвышенности и Малопольши. В этой зоне балтов никогда не было. Отсутствуют здесь также и другие категории неславянских гидронимов. С другой стороны, именно здесь широко представлены собственно славянские речные названия самых различных типов. Как иллюстративный материал достаточно привести основные притоки Радомки, расположенной в западной части этой зоны (*Bielczanka, Korzeń, Borówka, Oronka, Jabłonica, Wiazownica, Mleczna, Łukawa, Rakietka* и т. п.), и Быстрицы — в восточном (*Koza, Bystrzyca, Jabłonna, Czechówka, Stara Rzeka, Nowa Rzeka, Moszydło* и т. п.). Не вдаваясь здесь в проблематичную область балтославянских отношений, отметим, что выделенная таким образом зона имеет серьезные шансы, чтобы рассматриваться как собственно славянская, и, следовательно, может трактоваться как ареал древнего расселения, а может быть, и образования праславян как самостоятельного компактного этноса.

В заключение необходимо подчеркнуть, что ход наших рассуждений целиком опирается только на один источник информации — гидронимию. Мы считаем такой подход методически правомерным. Согласование наших результатов с другими лингвистическими и экстралингвистическими (например, археологическими) исследованиями — отдельная задача, которая остается за рамками данной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
2. *Трубачев О. Н.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
3. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Т. I—III. М., 1975—1980.
4. *Непокупный А. П.* Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
5. *Орел В. Э., Хелимский Е. А.* Наблюдения над балтийским языком польско-«ятвяжского» словарика. — В кн.: Балто-славянские исследования 1985. М., 1987, с. 121—134.
6. *Орел В. Э.* Из этимологических наблюдений над гидронимами бассейна Варты. — *Opomastica*, т. 33, 1989, с. 109—121.
7. *Орел В. Э.* Неславянские гидронимы в бассейне Вислы и Варты. — В кн.: Балтославянские исследования 1990 (в печати).
8. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
9. *Endzelins J.* Latvijas PSR vietvārdi. Т. 1—2. Rīga, 1956—1961.
10. *Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas.* Vilnius, 1959, s. 695.
11. *Būga K.* Rinktiniai raštai. Т. III. Vilnius, 1961, s. 843.
12. *Rieger J., Wolnicz-Pawlowska E.* Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław etc., 1975.
13. *Gerullis G.* Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin — Leipzig, 1922.
14. *Топоров В. Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. Т. II. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 72.
15. *Непокупный А. П.* К исследованию ареала ятвяжских реликтов. — В кн.: Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977, с. 144—145.
16. *Rzetelska-Feleszko E., Duma J.* Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą. Wrocław etc., 1977.
17. *Čabej E.* Studime gjuhësore. Т. I. Prishtinë, 1981, s. v. *bjeshkë*.



О СУДЬБЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГО РОДА В ОДНОМ ПОЛЬСКОМ ГОВОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ

1. В статье использованы материалы, полученные при исследовании субстантивного словоизменения в польском говоре деревни Арнаей (польск. *Ogniany*) Молетского района Литовской ССР. Этот польский говор, функционирующий ныне в весьма специфической языковой ситуации¹, сформировался на литовском субстрате² (местное население воспринимало польский язык в той его разновидности, которая определяется как культурный диалект северо-восточных «кресов», испытавший, как известно, значительное влияние белорусского языка).

Как и другие польские говоры Виленщины, по своей типологической характеристике этот говор может быть классифицирован в ряду польских говоров северо-восточной Польши, сформировавшихся [в условиях контакта с белорусским и литовским языками. Например, говор деревни Арнаей обнаруживает значительное сходство с сейненскими говорами, описанными Т. Зданевичем (см. [4]). В частности, такое сходство широко представлено среди элементов субстантивной словоизменительной системы (подробнее см. [5]). Однако в настоящее время по своей социолингвистической характеристике польский говор деревни Арнаей существенно отличается от говоров северо-восточной части Польши и демонстрирует специфику польской языковой системы, функционирующей практически вне сферы влияния общепольского³ языка в условиях активного языкового контакта с литовской и восточнославянской языковой средой.

Объектом исследования в д. Арнаей служила польская речь представителей старшего поколения — монолингвов; их языковая система наиболее приближена к той языковой системе, которая сформировалась в деревне в период литовско-польского двуязычия.

2. В польском языке (как и в восточнославянских, в том числе русском) представлен разряд существительных так называемого общего рода (точнее: и мужского, и женского рода, т. е. двуродовых) с окончанием -а в

Масленникова Людмила Ивановна — научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ В частности, языковая ситуация характеризуется активными контактами польского языка с литовским и русским языками, дифференцированностью польской речи жителей деревни в зависимости от их умения строить речь на одном, двух, трех языках (подробно см. [1]).

² Деревня Арнаей — старое название Велька Весь (*V'elka V'es'*) около имения Орияны — упоминается Г. Турской в числе польскоязычных деревень, в которых наиболее долго удерживался в общении также и литовский язык (см. [2]). Данное утверждение основывается также на свидетельствах информаторов старшего поколения (70—80 лет); записи сделаны мною в ходе диалектологического обследования говора в 1967—1968 гг. (см. [3]).

³ Термин «общепольский язык» употребляется в том значении, которое ему придано у З. Клеменевича (см. [6]).

именительном падеже единственного числа, которые обозначают, в основном, лиц мужского и женского пола и, как правило, имеют яркую экспрессивную окраску. Их родовая характеристика определяется внеязыковым фактором — полом лица, которое в высказывании называется данным словом [см. [7; 8, s. 159)]. Б. Васченко выделяет на материале русского языка к а т е г о р и ю общего рода, относя к ней как нарицательные существительные, так и собственные имена; общим для существительных этой категории является отсутствие коррелятивных падежных форм, различающихся по признаку рода (см. [9]). Польскими лингвистами также высказывается мнение о существовании отдельной к а т е г о р и и общего рода в польском языке (см. [10, с. 133—135]).

В единственном числе польские существительные общего рода имеют парадигматические показатели (окончания) такие же, как у существительных женского рода, а их родовая принадлежность (грамматический род) выражается только синтаксически — с помощью конгруэнции, т. е. определительно-предикативного согласования (*ten sierota był — ta sierota była*).

Во множественном числе такие существительные, как пишет А. Ожеховская, характеризуются в принципе окончаниями, свойственными существительным женского рода. Однако в родительном падеже множественного числа (Род. мн.)⁴ наряду с окончанием -*o* (*oferm, niedołęg*), свойственным существительным женского рода, выступает окончание -*ów* (*ofermów, niedołęgów*), как в мужском роде, а в Вин. мн. употребляются формы с окончанием -*u, -i* (*ofermu, niedołęgi*), т. е. Вин.-Им. (как и в женском роде), и формы на -*ów* (*ofermów, niedołęgow*), т. е. Вин.-Род. Такие существительные выделяются в особый подкласс существительных со значением мужского лица (см. [8, с. 236—237]).

Подобным образом описывает этот разряд существительных Г. Саткевич, которая одновременно отмечает, что лично-мужские формы в Им. мн. употребляются только у экспрессивно нейтральных существительных (*kalecy, słudzy*). Фиксируя в Род. мн. ряд словоформ с окончанием -*o*, общих для мужского и женского рода (*sierot, szuj*), Г. Саткевич подчеркивает, что в основном различие окончаний (-*ów* и -*o*) здесь обусловлено значением естественного рода существительных (см. [10, s. 135 — 136]).

В. Дорошевский (см. [11]) рассматривает существительные общего рода совместно с лично-мужскими существительными на -*a* (типа *starosta*), относя их к смешанному склонению существительных мужского рода, имеющих в ед. числе «женские формы» и грамматический мужской род. Во множественном числе различие между существительными женского и мужского рода на -*a* (в том числе общего рода типа *włóczęga*) состоит в том, что у существительных мужского рода в современном польском языке форма Вин. мн. совпадает с формой Род. мн. (*włóczęgów*), как и у других существительных со значением мужского лица. По форме Им. мн. автор различает два типа в группе лично-мужских существительных на -*a*: 1) имеющие лично-мужскую форму и 2) имеющие форму, идентичную существительным женского рода. В числе примеров, иллюстрирующих первый тип, наряду с формами лично-мужских существительных (*starostowie, mężczyźni*) приводится форма *włóczędzu*, которая, однако, в «Словаре польского языка» квалифицируется как устаревшая (см. [12]). Для второго типа приводятся в качестве примера, в частности, формы *klechy, niedołęgi*; одновременно автор подчеркивает, что существительные, имеющие форму Им. мн., равную женскому роду, всегда имеют пейоративный оттенок (так, отмечается, что для существительного *włóczęga* употребляется нелично-мужская форма — *włóczęgi*, если присутствует такой оттенок значения).

В рассмотренных выше исследованиях весьма сходно трактуется разряд существительных общего рода: 1) эти существительные включаются

⁴ Далее название падежа и числа дается в сокращенной форме: Им. — именительный падеж, Род. — родительный падеж, Дат. — дательный, Вин. — винительный, Тв. — творительный, М. — местный; ед. — единственное число, мн. — множественное число.

в корпус лично-мужских существительных, имеющих в Им. ед. окончание -а; при этом отмечается их экспрессивная окрашенность (значение пейоративности); 2) в ед. числе эти существительные обнаруживают признаки грамматического мужского рода только на синтагматическом уровне; парадигматически же они идентичны существительным женского рода.

Вместе с тем, в этих работах имеются некоторые расхождения, связанные с инвентарем и дистрибуцией словоформ существительных общего рода в словоизменительной парадигме: 1) В. Дорошевский фиксирует в Им. мн. допустимость двух форм (*włóczędzy* и *włóczęgi*); А. Ожеховская и Г. Саткевич приводят только форму, совпадающую с формой женского рода (*niedołęgi*); 2) для Род. мн. В. Дорошевский называет только форму с окончанием -ów, а в работах А. Ожеховской и Г. Саткевич говорится о регулярном употреблении парадигм с окончанием -ø и с окончанием -ów в Род. мн.; 3) А. Ожеховская пишет о синкретизме словоформ Вин. мн. и Им. мн. (окончание -у, -i) и синкретизме словоформ Вин. мн. и Род. мн. (окончание -ów) в параллельных парадигмах; В. Дорошевский констатирует совпадение форм лишь Вин. мн. и Род. мн. (-ów).

Сопоставление результатов названных выше исследований, разделенных по времени публикации более, чем тридцатью годами, позволяет высказать мысль, что в настоящее время в общепольском языке, по-видимому, существует тенденция к дифференциации парадигм мужского и женского рода на базе разряда имен существительных, объединяемых под названием «существительные общего рода с окончанием -а в Им. ед.».

Краткое описание существительных общего рода, функционирующих в общепольском языке в рамках кодифицированной нормы, представлялось целесообразным предпослать описанию того же разряда существительных в польском говоре, развивающемся в своеобразных социолингвистических условиях. Это позволяет, с одной стороны, более отчетливо увидеть специфику существительных общего рода в исследуемом говоре, а с другой стороны, через соотнесение с общепольским языком рассмотреть полученные нами данные с точки зрения их места в польской языковой системе.

3. В польском говоре деревни Аренай зафиксирована относительно немногочисленная группа имен существительных с окончанием -а в Им. ед., относящихся к разряду существительных общего рода, а именно: *fajtłara*, *gadula*, *grubajła*, *kutwa*, *łamaga*, *n'edarajda*, *n'ədəłęga*⁵, *plaksa*, *beksa*, *p'ijan'ica*, *s'erotą*, *šelma*, *zawalidroga*. Все эти существительные обозначают лицо и имеют пейоративный оттенок (кроме *s'erota*). По формам согласования в Им. ед. они могут быть квалифицированы как существительные мужского и женского родов (*ten s'erota* = *ta s'erota*, *tak'i n'ədəłęga* — *taka n'ədəłęga* Ср.: окончание -а в Им. ед. имеют существительные женского рода *moja surk-a*, *stara łaz'n'a*) и группа существительных со значением мужского лица (типа *tak'i bandyt-a*, *ten dozorc-a*, *moj z'adun'a* и др.).

В Род. ед. эти существительные имеют окончание -у (при основах на твердый согласный, кроме заднебных), -i (при основах на заднебный), как и существительные женского рода (ср. *ryb-u*, *matk'-i*), однако конгруэнтные показатели могут быть и мужского, и женского рода, ср., например, *n'e ma tak'ego*, *drug'ego grubajły*, *tak'ego niedołęg'i*, *żał tego s'eroty*, *n'e ma v domu tego p'ijan'icy* и *tak'ej łamag'i*, *do tak'ej šelmy*, *drug'iej tak'ej n'ədəłęg'i*. Отметим, что лично-мужские существительные имеют в Род. ед. также окончание -у(-i), например: *do samego wojówod-u*, *pošed do koleg-i* (но и: *an'i jednego bandyt-a*). Таким образом, в Род. ед. форма существительного общего рода и его конгруэнтные показатели имеют аналоги и в мужском, и в женском родах.

⁵ Знаком *ə* обозначается гласный средне-нижнего подъема среднего ряда, который может быть записан как *a*², *e^a*. Знаком *é* обозначен гласный средне-верхнего подъема, ряд между передним и средним, который может быть записан как *eⁱ*, *e^l*.

В Дат. ед. выступают окончания: -əj || -ej⁶ — *tej grubajləj, tej šelməj, tej p'ijan'icej* и -ə — *tej n'edarajz'ə* (ср. в женском роде: *mojej matkəj, žon'ə*), а также окончания -u — *temu grubajlu, kutvu tak'emu, p'ijan'icu, šelmu temu, temu n'edarajdu* (ср. в мужском роде: *dembu, tvojemu ojcu, prancuzu odeslaŋa, v'ozla kšes'n'aku, а также dozorcū čšeba pov'ež'ec', tatu stary dom dali*).

Формы Вин. ед. совпадают с формами Род. ед. (окончание -y, -i), либо с формами Им. ед. (окончание -a); при этом словоформам с окончанием -y, -i соответствуют в конгруэнции показатели мужского рода, а словоформам с окончанием -a — показатели женского рода, например: окончание -y(-i) — *pačša* на *kutvy tego, na tego šelmy, na tego s'eroty, tego p'ijan'icy spotkaŋ, na tego n'edoleŋ'g'i* (ср. также у лично-мужских существительных: на *svojego taty, tak'ego bandyty žlapali, on drug'ego koleg'i ma, но также и на tego dozorca, žlapali bandyta jednego*); окончание -a — на *n'o na ta p'ijan'ica pačsec' n'e moga, na taka n'edarajda, na ta s'erota, na ta šelma* (ср. женский род: *kšučy na svoja žona*).

Тв. ед. характеризуется окончанием -əm || -om⁷ (при основах на твердый согласный, кроме заднебных), -əm (при основах на заднебный) с *tym grubajləm, s kutvəm, s tym šelməm, n'ic n'e poraz'iš s tak'im n'ədarajdəm, s tym s'erotk'əm, s tym p'ijan'icom* (ср. мужской род: *pod lasəm, bon'z' gospodažəm, pflug'əm vyvruc'iš, а также z bandytəm, spotka s'ə s koleg'əm, s tatom*); окончанием -o: *s tako p'ijan'ico, s to grubajlo, s tako šelmo, s to s'eroto* (ср. женский род: *z mojo žono, novo xato*).

В М. ед. зафиксированы окончания -u, -ə, -y. Словоформам с окончанием -u сопутствуют конгруэнтные показатели только мужского рода, например: *pšy tak'im grubajlu, o tym n'edarajdu, o tak'im n'edoleŋgu*. С формами на -ə согласуются либо только формы женского рода (*pšy tej grubajlə, o tej n'edarajz'ə*), либо формы и мужского, и женского рода (*o tym s'eroc'ə ja n'ic n'e v'ež'aŋa || o tej s'eroc'ə, o tym šelm'ə || o tak'ej šelm'ə*). В рамках конгруэнции по типу мужского рода окончания -u и -ə могут варьироваться, т. е. -u || -ə (*o tym šelm'ə || šelmu*). Существительное *p'ijan'ica* зафиксировано в М. ед. в виде словоформы *p'ijan'icy*, которая имеет двойное согласование: *o tym p'ijan'icy || žyc' pšy tej p'ijan'icy*.

Для сравнения рассмотрим дистрибуцию окончаний -u, -ə, -y(-i) в М. ед. у существительных мужского и женского родов. Существительные женского рода получают в М. ед. окончания -ə, -y(-i), а существительные мужского рода — окончания -u, -ə. В женском роде дистрибуция окончаний обусловлена типом основы (ср. *xat-a — f xac'-ə, trav-a — na trav'-ə, žon-a — o žon'ə* и *ulic-a — na ulic-y, z'ež-a — v z'ež-y, kuz'n'-a — f kuz'n'-i, varc'-a — pšy varc'-i*). В мужском роде наличие окончания -ə также обусловлено типом основы (*staŋ — na stav'-ə, pŋot — na pŋoc'-ə*). Однако одушевленные существительные с таким же типом основы имеют окончания -u (*koŋ — o koŋ-u, gen's'og — o gen's'og-u, syn — pšy syn-u, son's'at — o son's'ad-u*), в том числе и вселично-мужские существительные с окончанием -a в исходной форме (*tat-a — o svoim tat-u prav'i, majstr-a — pšy tym majstr-u, c'es'l-a — o c'es'l-u*). У одушевленных существительных окончания -ə и -u могут варьироваться (*kret — o kret-u || o krec'-ə, ogroŋom — pšy ogroŋom-u || ogroŋom'-ə*). У неодушевленных существительных употребление окончания -u связано с типом основы (*z'ež'in'əc — na z'ež'in'c-u, monš — po menž-u, kžak — na kšak-u*). Таким образом, дистрибуция окончаний в мужском роде обусловлена не только формальным, но и семантическим фактором. У существительных с основой на твердый согласный (кроме -c, -z, переднебных и заднебных) действию формального фактора (зависимость вида окончания от типа основы), обуславливающего наличие

⁶ Гласные *ə* и *e* взаимозаменяются (т. е. *ə* || *e*) в безударной позиции после твердых согласных.

⁷ Гласные *ə* и *o* взаимозаменяются (т. е. *ə* || *o*) в безударной позиции после твердого согласного.

окончания -ô, противодействует семантический фактор (значение одушевленности/неодушевленности), что приводит к употреблению окончания -u у одушевленных существительных в нарушение правил дистрибуции окончаний по формальным признакам. Столкновение этих двух факторов отражается в колебаниях при выборе окончания: допустимо их параллельное употребление (-u || -ô).

Сопоставление приведенных данных с дистрибуцией окончаний -u, -ô, у существительных общего рода в сочетании с сопутствующими им конгруэнтными показателями приводит к выводу, что: 1) употребление окончания -u в М. ед. у существительных общего рода аналогично его употреблению у одушевленных существительных мужского рода; 2) окончанию -ô, выступающему у существительных женского рода и одушевленных существительных мужского рода, соответствуют в конгруэнции существительных общего рода показатели и мужского, и женского рода. Кроме того, словоформы на -у, свойственные существительным женского рода, имеют в конгруэнции существительных общего рода показатели и мужского, и женского рода.

В **Им. мн.** существительные общего рода имеют окончание -у (при основах на твердый согласный, кроме заднеязычных), -i (при основах на заднеязычный), например: s'eroty, šelmy, sama grubajly zēbrali s'ô, sama kutvy, n'edarajdy tak'a, sama n'ôdoleg'g'i (ср. в женском роде: gl'ovy, baby, curk'i; в мужском роде: demby, vos'anu, šofery, p'ôtux'i, rombak'i, а также: со dozorco rob'ili, c'es'li dobra byli; вместе с тем, в мужском роде у одушевленных существительных представлены также формы: karšun'i, brunec'i, bandyc'i и koty || koc'i, v'ilk'i || v'il'sy, s'ôržanty || s'eržan'c'i, rybak'i || rybacy, koleg'i || kolezy, выделяющие эти существительные среди других существительных мужского рода по признаку одушевленности). Отсюда следует, что у существительных общего рода, в отличие от мужского рода, в Им. мн. значение одушевленности формально не выражено.

В **Род. мн.** у существительных общего рода зафиксировано только окончание -of: n'e ma tak'ix kutvof, v'encej n'ôdoleg'gof jak d'oleg'gof, zebrała s'ô šajka p'ijan'icof, 'Jaz'a s'erotof n'e lub'iš, u nas n'e ma šelmof (ср. в мужском роде: gžybof, gvoz'z'of, og'erof, okun'of, cyganof, z'en'c'of, bandytof, dozorcof, kolegof; в женском роде: большинство существительных получает окончание -of, однако употребляется и нулевое окончание: n'e ma kačkof, гур; dužo bluskof mam i spodn'ic; bæs tux ran'epæk, s'ostrof, а также: s tyk xatof || s'edem xat).

Вин. мн. характеризуется окончаниями -of и -y(-i): на tyg grubajlof, на tyk kutvof, на s'eroty, на tux šelmof. Ср. в мужском роде: неодушевленные существительные получают окончание -y(f *snopy v'onžo, bliny p'ekc'*), лично-мужские — окончание -of (rob'ili jej *synof tux; vupajon c' c'es'lof'*); одушевленные существительные, не имеющие значения мужского лица, употребляются с окончаниями -у и -of (*v'ozo v'eršy; zlapal dvux kretof*, а также *ščšela zajency || zajencof*; в женском роде обычно **Вин. мн.** -Им. мн. (*kret psuji gžendy*), но допустимы и формы с окончанием -of, что отмечено только у одушевленных существительных (*v'iz'alam v'ilčyc'of, vz'eľa s'ostrof*). Таким образом, существительные общего рода имеют в **Вин. мн.** такие же окончания, как одушевленные существительные женского рода и одушевленные неличные существительные мужского рода.

Как и все другие существительные в говоре, в **Дат. мн.** существительные общего рода имеют окончание -em/-om (tym p'ijan'icem, tak'im n'ôdoleggam, tym kutvom, tym šelmom m'ejsca n'e ma, s'erotom || — s'erotam teš trudno); в **Тв. мн.** — окончание -am'i (s tym'i p'ijan'icam'i čysta b'eda; n'e byli by jak'im'i n'ôdoleggam'i; s tym'i s'erotam'i); в **М. мн.** — окончание -ax/-ak⁸ (o grubajlax, n'edarajdak, a tak'ix n'ôdoleggak, o tyk s'erotax, šelmak).

⁸ В говоре согласные *x* и *k* могут варьироваться в одной и той же морфеме, однако чаще фиксировались варианты, в которых эти согласные употребляются в соответствии с этимологией.

4. Анализ окончаний существительных общего рода показал, что в исследуемом польском говоре в парадигмах таких существительных комбинировается употребление окончаний мужского и женского рода. В тех случаях, когда совпадает парадигматический показатель в мужском и женском родах (например, окончание *-ó* в М. ед.), существительные общего рода имеют согласование по типу и мужского, и женского рода. Опираясь на конгруэнтные показатели, можно классифицировать парадигматические показатели (окончания) существительных общего рода следующим образом (см. табл.).

Таблица

Падежи	Ед. число		Мн. число
	Мужской род	Женский род	
Им.	-a	-a	-y(-i)
Род.	-y(-i)	-y(-i)	-of
Дат.	-u	-ój(-ej),-ó	-óm(-om)
Вин.	-y(-i)	-a	-of, -y(-i)
Тв.	-óm(óm, -om)	-o	-am'i
М.	-u, ó, -y	-ó, -y	-ax(-ak)

Приведенная таблица показывает, что в рамках существительных общего рода на основании парадигматических показателей в единственном числе выделяются два класса парадигм — мужского и женского рода. При этом класс парадигм женского рода имеет систему окончаний, свойственную одушевленным существительным женского рода. Класс парадигм мужского рода не тождествен ни одному из представленных в говоре типов парадигм мужского рода. Так, в системе окончаний этого класса парадигм присутствуют элементы, характеризующие лично-мужские существительные с окончанием *-a* в исходной форме: вместе с этим окончанием (в Им. ед.) сюда относится *-y(-i)* в Род. ед. и Вин. ед. Однако в Вин. мн. окончание *-y(-i)*, наряду с *-of*, свойственно одушевленным неличным существительным мужского рода (лично-мужские получают только *-of*). Наконец, окончание *-u* в М. ед. не выступает в парадигмах существительных мужского рода, а словоформы с таким окончанием в М. ед. отнесены к «мужскому» классу парадигм по показателям конгруэнтности. Следует констатировать, что в данном парадигматическом типе сочетаются признаки личных и неличных одушевленных существительных мужского рода, противопоставляющие существительные общего рода неодушевленным существительным мужского рода. Тем не менее, отметим, что формальные средства выражения значения мужского лица у этих существительных аналогичны тем, которые представлены у лично-мужских существительных (типа *tata, c'es'la*), хотя и используются менее последовательно.

Таким образом, если нормативные средства общепольского языка позволяют лишь высказывать предположение о намечающейся тенденции к дифференциации парадигм мужского и женского рода в рамках разряда существительных общего рода, то в исследуемом говоре такая дифференциация уже произошла.

В самом факте обозначения одним и тем же словом и мужского, и женского лица заложена возможность (а в условиях высказывания нередко и необходимость) соотнесения данного слова либо с мужским, либо с женским лицом. В общепольском языке в таких случаях существительное, соотносимое с женским лицом, имеет женский грамматический род, а при обозначении мужского лица — либо мужской, либо женский (см. [8, s. 159]). При этом, если в сочетаниях типа *ta sierota, tej sieroty* согласование происходит по формальному признаку (ср. женский род: *ta kobieta, tej kobiety*), то в сочетаниях *ten sierota, tego sieroty* согласование определяется семантическим фактором (значением мужского лица). Влиянием семантического фактора обусловлено и различие форм Род. мн. (*oferm* и *ofermów*) и Вин. мн. (*ofermy* и *ofermów*) (см. [8, s. 236], а также [10,

s. 136]). Дифференциация парадигм, следовательно, связана с выражением формальными средствами (окончаниями) значения мужского лица. Однако в общепольском языке основным средством выражения значения мужского или женского лица у существительных общего рода остаются конгруэнтные показатели.

В исследуемом польском говоре значения мужского и женского лица выражаются не только на синтагматическом, но и на парадигматическом уровне и прежде всего — в корпусе словоформ единственного числа. Существительные общего рода имеют здесь два варианта словоизменения. В этих условиях можно говорить о наличии двух существительных, имеющих одинаковое лексическое значение, но различающихся по значению лица (мужского/женского). Эти существительные имеют омонимичную исходную форму (Им. ед.). Однако уже на синтагматическом уровне омонимия устраняется средствами конгруэнции, а на парадигматическом уровне омонимичные словоформы включаются в разные системы словоизменения (в зависимости от значения лица — мужского или женского).

Из сказанного следует, что в польском говоре деревни Арнаей отсутствуют двуродовые существительные и нет оснований говорить о наличии в его системе особого разряда существительных общего рода с окончанием -а в исходной форме.

5. Такое явление в словоизменительной системе имен существительных не может рассматриваться как прямое следствие иноязычного влияния (точнее — интерференции) на польский говор. Оно, скорее, представляет собой результат внутрисистемной его эволюции. Однако несомненно, что такой модификации существительных общего рода способствовали условия функционирования говора (контакт с литовским языком, переход колонизировавшихся литовцев к общению на польском языке).

Грамматическое выражение в рамках словоформы значений мужского и женского лица у существительных общего рода более выразительно, более информативно в акте речи, чем одни лишь показания конгруэнции, которые могут и не употребляться. Образование двух типов парадигм, устраняя специфический подкласс существительных общего рода, упрощает употребление таких лексем в речи, так как носители диалекта в этом случае пользуются моделями словоизменения существительных мужского и женского рода, которые несравнимо более многочисленны и более употребительны.

Здесь, таким образом, имеет место своеобразное выравнивание форм по аналогии, происходящее под влиянием семантического фактора и с использованием «коммуникативно отработанных языковых средств» [13, с. 81]. Вместе с тем, стремление к выражению родовой принадлежности на парадигматическом уровне можно рассматривать как появление «коммуникативно необходимых языковых элементов» (см. [13, с. 92]) в рамках развития языковой системы в условиях языкового контакта.

Кроме того, наличие различающихся словоформ для выражения значения мужского и женского лица в определенном смысле более экономно, так как устраняет расхождение между формой и содержанием лексемы (в случае обозначения мужского лица при помощи словоформы женского рода, а также в случае формального несовпадения конгруэнтных и парадигматических показателей). В результате слова, определяемые как существительные общего рода, перестают быть исключением и становятся в ряд регулярных моделей мужского и женского рода по показателям и конгруэнции, и словоизменения.

Социолингвистические условия функционирования говора исключали возможность корректирования его развития со стороны общепольского языка. Если согласиться, что в общепольском языке существует тенденция к дифференциации парадигм по признаку рода у существительных общего рода, то ситуация в исследуемом говоре предстанет как логическое продолжение этого процесса.

Итак, активная роль семантического фактора в поиске наиболее информативных и адекватных средств выражения в акте речи и отсутствие сдерживающего воздействия кодифицированной нормы в сочетании с си-

туацией языкового контакта — т. е. совокупность внутренних и внешних по отношению к языковой системе факторов — создали условия для модификации того фрагмента польской словоизменительной системы, который охватывает существительные общего рода.

Судьба существительных общего рода в польском говоре деревни Арне-най демонстрирует возможности развития польской языковой системы в специфических социолингвистических условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Масленникова Л. И. Об особенностях языковой ситуации в польских говорах на территории Литовской ССР. — В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
2. *Turska H.* O powstaniu polskich obszarów językowych, cz. I. Wilno, 1939, s. 19.
3. Масленникова Л. И. О категории одушевленности-неодушевленности в польском говоре деревни Орняны Литовской ССР. — В кн.: Польские говоры в СССР. Ч. I. Минск, 1973, с. 66—67.
4. *Zdancewicz T.* Z zagadnień gwar przejściowych pogranicza polsko-białoruskiego. — In: *Z polskich studiów slawistycznych*. Warszawa, 1958; *Zdancewicz T.* Gwary powiatu Sejneńskiego na tle procesów osadniczych. — In: *Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej*. Białystok, 1963; *Zdancewicz T.* Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami. — In: *Acta Baltico-Slavica*, t. I. Białystok, 1964; *Zdancewicz T.* Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami. Poznań, 1966.
5. Масленникова Л. И. Некоторые особенности категории среднего рода в польском говоре деревни Орняны Литовской ССР. — В кн.: Польские говоры в СССР. Ч. 2. Минск, 1973, с. 90—92.
6. *Klemensiewicz Z.* W kręgu języka literackiego i artystycznego. Warszawa, 1961, s. 108—113.
7. *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1972, с. 66—77.
8. *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia* / Pod red. R. Grzegorzycowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla. Warszawa, 1984.
9. *Vasčenko V.* Грамматическая категория общего рода в восточнославянских и романских языках. — *Romanoslavica*, 21. 1983; *Vasčenko V.* Грамматическая категория общего рода в русском языке. — *Вопросы языкознания*, 1984, № 5.
10. *Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H.* *Kultura języka polskiego*. Warszawa, 1986.
11. *Doroszewski W.* *Podstawy gramatyki polskiej*. Warszawa, 1952, s. 197—198.
12. *Słownik języka polskiego* / Pod red. W. Doroszewskiego. Т. 9. Warszawa, 1967.
13. *Серебрянников Б. А.* Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968.



ГАЛЕРЕЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В НАХОДЕ (К ИСТОРИИ ЧЕШСКО-РУССКИХ СВЯЗЕЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА)

В городе Находе в восточной части Чехии, у границы Чехословакии с Польшей, в живописном замке, перестроенном на рубеже XVI и XVII вв. в ренессансном стиле, хранящем следы готики XIII в. и позднейшие наслоения раннего барокко, находится музей, где хранятся ценные коллекции барочной и ампирной мебели и богатое собрание редких нидерландских гобеленов. В прилегающем к замку зданию манежа расположена единственная в своем роде за пределами России галерея русской живописи.

Совсем коротко — о том, как попало множество произведений русских художников в Чехию. Говорят, «рукописи не горят», в какой-то мере это может быть отнесено и к картинам. Многие, что у нас считалось безвозвратно утраченным, оказалось в Чехословакии и теперь может быть осмотрено и изучено.

Не пытаюсь обрисовать всю историческую перспективу русско-чешских связей в области искусства, коснемся лишь основных путей перемещения русской живописи в Чехию. Их видится три: частные приобретения русских картин на проходивших в Чехии выставках, закупи работ, оказавшихся за пределами родины русских художников, а также их благотворительные дары, отложившиеся в разного рода постоянных экспозициях русского искусства в Чехии и, наконец, целенаправленная собирательская деятельность коллекционеров — как чехов, так и русских эмигрантов.

Начало выставок русских художников в Чехии восходит к 1871 г., когда в Праге экспонировались картины И. К. Айвазовского. В 1886 г., в 1898 г. там же состоялось знакомство чехов с работами В. В. Верещагина, а в 1900 г. — с произведениями передвижников. Их выставка включала в себя 226 работ сорока членов общества (В. Н. Бакшеева, Н. П. Богданова-Бельского, А. М. Васнецова, С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. А. Киселева, И. Н. Крамского, И. И. Левитана, А. В. Маковского, В. Е. Маковского, М. В. Нестерова, Н. В. Неврева, И. Е. Репина, И. И. Шишкина, Н. А. Ярошенко и др.). После выставки передвижников в Праге до первой мировой войны состоялось еще несколько выставок: русских художников-графиков (1904), северных картин и этюдов Александра Борисова (1905), Н. К. Рериха (1906), В. Д. Поленова (1910), группы «Мир искусства», на которой экспонировалось 73 произведения 21 художника (1912).

Особенно возрос интерес к русскому искусству, как и ко всей русской культуре, в Чехословакии в 1920—1930-е годы, чему способствовал и установившийся там к тому времени уровень знакомства с творчеством русских художников, и наплыв эмигрантов, и возвращение значительного чис-

Кишкин Лев Сергеевич — канд. филол. наук, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

ла чехов из России, и, наконец, появление небывало большого числа русских картин на европейском художественном рынке.

Межвоенное двадцатилетие отмечено еще бóльшим количеством выставок русского искусства в Чехословакии, чем два первые десятилетия XX в. Первой из них была выставка-продажа картин (85 названий) из частного собрания чеха Антонина Грабе, ранее жившего в Москве мастера рам. Заказчики, по преимуществу московские художники (Поленов, Л. В. Туржанский, М. Х. Аладжалов, Д. Ф. Мартен и др.), нередко дарили ему свои небольшие работы. Из них и составил свою довольно значительную коллекцию Грабе. Немало в указанные годы состоялось персональных выставок, в том числе И. Е. Репина (1923), Б. Д. Григорьева (1926, 80 работ), И. Я. Билибина (1927, совместно с чешским художником Р. Гавелкой), Ф. А. Малявина (1933) и др.

Среди коллективных выставок надо отметить целый ряд экспозиций картин И. Е. Репина совместно с другими русскими художниками (1925, 1931, 1932). Весьма значительной была «Совместная выставка произведений Ильи Репина и группы русских художников из Парижа» (14 художников, 146 картин), проходившая в Праге (декабрь 1931 — январь 1932), Брно (январь-февраль 1932) и Братиславе (сентябрь-декабрь 1932). Заслуживают внимания и другие коллективные выставки, на которых экспонировались работы русских художников (1928, 1930, 1935). Обычно они проходили в Праге. Особенно представительной была «Ретроспективная выставка русского искусства XVIII—XX вв.» (470 названий), организованная в 1935 г. Славянским институтом бывшей Чешской академии наук и искусств. Всего в 1920—1930-е годы в Чехословакии (преимущественно в Чехии) состоялось по меньшей мере 15 выставок русского искусства. На многих из них, как и на более ранних, картины продавались и оседали в Чехии. Так, доподлинно известно, что на выставке передвижников 1900 г. были проданы картины Репина «Революционерка перед казнью» и Касаткина «Перед отдачей в приют» (обе сейчас в Находе), несколько работ Шишкина и других художников. Есть основания полагать, что на выставках были проданы отдельные произведения Борисова, Поленова, а, возможно, также Айвазовского и Верещагина. Осталось в Праге около половины произведений, показанных на выставке «Мира искусства». Немало картин было продано и на выставках 20—30-х годов, в частности из коллекции Грабе, из выставлявшихся работ И. Е. Репина, из обширной экспозиции русской живописи на ретроспективной выставке 1935 г. По-видимому, последней, где продавались русские работы, была выставка «Собрание рисунков русских художников» (1947, 96 названий). Последующие многочисленные выставки русского и советского искусства, по большей части проводившиеся Национальной галереей, уже не имели коммерческого характера. Однако время от времени вплоть до наших дней произведения русских художников появляются в антикварных магазинах Чехословакии. Нередко музеи приобретают их у коллекционеров.

Немало способствовали организованному сбору произведений русского искусства в Чехии и оседанию их там научные и музейные учреждения. Одним из них была так называемая «Славянская галерея» Йозефа Карасека, русский раздел которой включал в себя картины Репина, Малявина и ряда других известных художников. Местом концентрации произведений русских художников стал и «Музей русского искусства» при Славянском институте, создателем и куратором которого был профессор Карлова университета Н. Л. Окунев. В этом музее, составленном из даров русских художников и купленных произведений, были, например, полотна С. Ф. Щедрина, О. А. Кипренского, К. П. Брюллова. В 1934 г. при русском архиве в Збраславе, близ Праги, возник «Русский культурно-исторический музей». Им руководил В. Ф. Булгаков, обездвивший многих оказавшихся за рубежом русских художников с целью сбора картин для музейной экспозиции. В результате ему удалось получить для музея 398 картин от ста художников. Это были работы Александра и Альберта Бенуа, К. А. Коровина, М. В. Добужинского, Б. Д. Григорьева, П. А. Нилуса, Н. С. Гончаровой, Н. Д. Милиоти, Н. К. Рериха и многих других. Часть

этих работ после войны вернулась на родину. «Русский культурно-исторический музей» размещался в Збраславском замке XVII в. Два зала в нем были заняты картинами: в одном экспонировались только картины Репиха, самого щедрого дарителя, в другом — всех остальных русских художников. Есть в Чехии и другие центры собраний русской живописи. Так, например, целым рядом русских произведений обладает Галерея Пражского града (Репин, Айвазовский, Шишкин). После 1945 г. владельцем крупного собрания русской живописи (Репин, Айвазовский, Коровин, Малявин, Шишкин, Верещагин, Суриков и др.) становится Национальная галерея в Праге.

Еще одной весьма существенной активной силой, способствовавшей притоку в Чехию произведений русского искусства, были коллекционеры. Их было немало: это и чехи (нередко дипломаты), и оказавшиеся по разным причинам в Праге после революции русские. Среди первых, помимо уже упомянутого А. Грабё, можно назвать В. Гирсу (собрание репинских картин), А. Гирсу (коллекция работ Нестерова), бывшего консула в Финляндии Э. Миллера (картины Репина), бывшего работника чехословацкого представительства в Москве А. Амброша (разные русские художники), Т. Маглича (большое число картин Репина).

Из числа оказавшихся в Чехии русских уникальную коллекцию икон имел проф. Н. П. Кондаков, немало русских картин принадлежало Н. Л. Окуневу. Особого внимания заслуживает деятельность самоотверженного и страстного собирателя русской живописи, главным образом XIX в., донского казака, врача Н. А. Келина. Его частная коллекция была одной из самых значительных в Чехии, на нее на протяжении многих лет он расходовал все, что мог выделить из своего скромного заработка. Благодаря Н. А. Келину, уцелели до наших дней очень многие русские картины, например, работы Тропинина, которые Келин когда-то приобрел в Париже.

Мы назвали лишь нескольких коллекционеров русского искусства в Чехии, фактически же их было значительно больше. Многие коллекции 20—30-х годов в послевоенные годы распались, однако значительная часть входивших в них русских произведений попала в музеи Чехословакии. Но и до сих пор немало картин русских художников продолжает оставаться в частных собраниях. Помимо отмеченных трех основных путей притока русских картин в Чехословакию, были, конечно, и другие, порою весьма неожиданные. Так, в наследии внучки Кутузова Д. Ф. Фикельмон, подолгу жившей в Теплице, недавно обнаружен портрет ее дочери работы К. Брюллова, в наследии А. Н. Фризенгоф (Гончаровой) в Бродзянах (Словакия) — акварельные портреты ее самой и ее сестры — Н. Н. Пушкиной, исполненные В. Гау. Есть работы русского происхождения в некоторых других чехословацких замках, ставших теперь музеями, в частности в замке Лука над Иглавой, принадлежавшем мужу одной из представительниц рода Абамелюк — Лазаревых — Анны Абамелюк. Напомним еще и о том, что сыновья двух выдающихся русских художников — В. В. Верещагина и В. М. Васнецова — долгое время жили и скончались один — в Карловых Варах, другой — в Праге. Оба оставили воспоминания о своих отцах. Кстати, сын Васнецова, отец Михаил, служил в русской православной церкви на Ольшанском кладбище, которую написал И. Я. Билибин, когда находился в Праге. Эти отдельные примеры показывают, как могли проникать и проникали в Чехословакию произведения русского искусства. Наряду с Францией и Польшей здесь было сосредоточено самое большое количество русских художественных ценностей. Чешский искусствовед В. Фиала к началу 1980-х годов обнаружил на территории Чехословакии 492 произведения русской живописи, находящихся в государственном и частном владении (теперь их число заметно превысило 500). Это и обусловило возможность создания галереи русской живописи в Находе.

В конце 60-х годов в Чехословакии было принято решение о специализации художественных музеев, согласно которому Окружная галерея в Находе должна была экспонировать русскую живопись. В апреле 1968 г. в здании Находского замка (он тогда принадлежал галерее) была открыта

постоянная выставка русских картин. Она просуществовала до 1972 г., когда была закрыта в связи с долгосрочной реставрацией замка. Для новой экспозиции русской живописи был специально реконструирован (с учетом оптимального освещения здания) прилегающий к замку манеж. Она открылась в 1983 г. Ее основу составляют произведения, выставившиеся ранее в замке, однако их число значительно возросло. Общее количество работ русских художников в галерее, по словам ее директора скульптора И. Рубичека, постоянно растет и в настоящее время составляет около 500, в том числе графических — 300, рисунков — 50 и картин маслом — 120. Более половины живописных работ составляют основную экспозицию, остальные находятся в запаснике. Помимо того, что принадлежит самой галерее и приобретено ею самой, в ее собрание входят картины, полученные из Национальной галереи в Праге, Моравской галереи в Брно, Окружной галереи в Градце Кралове, а также Чехословацкой академии наук.

Современная постоянная экспозиция (картины более 30 русских художников) размещена на двух этажах манежа. Картины развешены свободно, и потому каждая из них хорошо смотрится. В подавляющем большинстве они относятся ко второй половине XIX в., но есть и более ранние, например, «Александр I у Шаффгаузенского водопада» (1815) С. Ф. Шедрина, «Портрет писателя А. Н. Струговщикова» (1840) К. Брюллова, «Автопортрет» О. А. Кипренского (без даты). У каждой из этих картин две истории: одна — возникновения и бытования в России, другая — скитальческой судьбы за ее рубежами.

Среди произведений второй половины XIX в. и отчасти начала XX вв. в находской экспозиции довольно много работ Репина (8 названий), Поленова (9 названий), Нестерова (4 названия), К. А. Коровина (5 названий). Три картины представлены Айвазовский, Бакшеев, А. Н. Корин, Малявин, а все остальные (А. Е. Архипов, В. Л. Боровиковский, Н. П. Богданов-Бельский, А. П. Боголюбов, С. В. Иванов, Н. А. Касаткин, А. А. Киселев, Ю. Ю. Клевер, И. Н. Крамской, И. И. Левитан, Е. Д. Поленова, Н. Е. Сверчков, В. А. Серов, И. И. Шишкин, В. А. Тропинин, А. М. Васнецов и др.) — одной-двумя. Подавляющее большинство полотен составляют пейзажи и портреты.

Из репинских работ, пожалуй, наибольшее впечатление оставляет картина «Революционерка перед казнью», покупка которой в 1900 г. была осуществлена при содействии чешской писательницы Г. Прейсовой. В темной камере на тюремной койке сидит девушка с опущенными на колени руками. Перед нею горящая свеча. Лицо исполнено отрешенной печали и удивления. Эту картину после 1897 г., когда она выставилась в Петербурге, у нас не видели. Как считается, ее возникновение было связано с именем Веры Фигнер, черты внешности которой Репин в какой-то мере отразил в своей картине. Многие из работ Репина, которые можно увидеть в Находе, имеют эскизный характер.

К числу лучших картин Поленова в экспозиции следует отнести «Первый снег» и «Татарскую деревню в Крымских горах», особенно трогает своей глубинной, некрикливой поэтичностью зимний среднерусский пейзаж с невысокими елочками и березками у кромки реки и занесенной первым снегом поймой, обрамленной вдали высоким берегом. Сильное впечатление оставляет одна из поздних картин Нестерова «Озеро», на которой изображены расположившиеся у воды четыре типично нестеровские сельские женщины (в сарафанах и закрывающих лоб платках), слушающих юного дударя.

Галерея по праву может гордиться двумя картинами Тропинина: «Портретом девушки с попугаем» и «Портретом скульптора И. В. Витали». Последний особенно привлекателен. Скульптурный портрет Пушкина работы Витали гораздо более широко известен, чем портрет творца этого изваяния, хотя его портрет, как считается, и является авторским повторением. Разные чувства и мысли охватывают во время осмотра галереи, находящейся вдали от тех мест, где рождались составившие ее живописные полотна.



Нестеров М. В. (1862—1942). Озеро, 1929, масло, 66 × 91



Тропинин В. А. (1776—1857). Портрет девушки с попугаем, 1830-е годы, масло, 33 × 39,5



Богданов-Бельский Н. П. (1868—1945). Крестьянин, стоящий у двери, 1906, масло, 200 × 100

Посетитель галереи отметит два очень выразительных изображения типов русских крестьян — И. М. Крамского («Портрет крестьянина», 1868) и Н. П. Богданова-Бельского («Крестьянин, стоящий у двери»). Несомненно, заденут русское сердце и другие картины, в частности «Пейзаж с рыбаками» (1881) А. А. Киселева, «Молодушка из рязанской области» А. Е. Архипова, «Городок у реки» В. Н. Бакшеева, «Весенний пейзаж с рекой» А. М. Васнецова, «Русская тройка в зимнем поле» (1880-е годы) Н. Е. Сверчкова, его же «Арабский жеребец» и ряд других.

До сих пор говорилось о более или менее известных художниках, но есть в находской галерее и мало известные или совсем неизвестные. Они также по своему интересны и заслуживают внимания, если не благодаря исключительному мастерству и самобытной индивидуальности, то в силу не совсем обычных сюжетов своих картин. Такими представляются «Приход варягов в Киев» (1912) Г. К. Гук-Кравченко, «Стенька Разин и княжна» (1912) А. А. Александрова, «Пристань на Волге» А. Зарецкого (заметим, что в Находе есть еще одна картина с таким же названием, принадлежащая К. А. Коровину, обе они относятся к 1880-м годам) и «Посещение в Институте благородных девиц» Э. Я. Шанкс. Если первые две привлекают обращением к далекой полуполюгендарной истории, что в наши дни случается редко, то вторые две несут в себе информацию о том, чего наши современники увидеть уже не могут. И Волга XIX в. в своих естественных берегах, и быт институток ушли в прошлое. В этом смысле картины Зарецкого и Шанкс примечательны и как живописные исторические свидетельства.

Как уже отмечалось, экспозиция галереи включила в себя лишь часть имеющегося у нее собрания живописи. В ее запасниках хранится немало других картин Нестерова, Поленова, Левитана, Мусатова. Есть в запас-



Сверчков Н. Е. (1817—1898). Арабский жеребец, 1858, масло, 80,5 × 64



Шанкс Э. Я. (1857—1936). Посещение в Институте благородных девиц, ок. 1900 г., масло, 160 × 215

нике и интересная серия графических листов (всего 20), посвященная сатирическому изображению истории династии Романовых. Предполагают, что ее автором мог быть Д. М. Мельников. Однако вопрос этот до конца еще не выяснен.

Работники галереи русской живописи в Находе ведут активную работу по выявлению и приобретению пошедших в Чехословакию работ рус-

ских художников. Ее собрание неуклонно растет. Понимая неотрывность друг от друга слагаемых художественной культуры, галерея периодически проводит вечера русской литературы и музыки, расширяя тем самым представление посетителей этих вечеров о той атмосфере, в которой творили представленные в экспозиции художники.

Говоря о галерее в Находе, где собраны многие русские картины, мы почти ничего не сказали о других, находящихся в иных музеях и частных домах, об изучении русской живописи и отзывах о ней выдающихся деятелей чешской культуры (писателей Я. Неруды и Я. Врхлицкого, крупного художника К. Пуркине, видного ученого искусствоведа и эстетика О. Гостинского, страстного поклонника русского искусства поэта Ф. Таборского и многих других), о работе русских художников в Чехии и их связях с чешскими живописцами, но все это требует специального рассмотрения. Здесь же нам хотелось рассказать лишь о русских картинах, находящихся в собрании музея в Находе. Знакомство с ним убеждает в том, как непредсказуемы культурные связи, какими непредвиденными могут быть их последствия, сколь причудливы судьбы произведений искусства.



РОКИНА Г.

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РУКОПИСЬ ЯНА КОЛЛАРА «DIE GOTTER VON RETRA»

Имя Яна Коллара (1793—1852) хорошо известно славистам всего мира, сотни работ посвящены жизни и творчеству ведущего представителя словацкого и чешского возрождения. Казалось бы, его биография уже не хранит неизвестных страниц: в ЧСФР переизданы многие сочинения Коллара, Матица словацкая готовит полную публикацию его корреспонденции. В связи с этим несколько неожиданной была находка рукописи неопубликованного сочинения Коллара «Боги Ретры» («Die Gotter von Retra») в Центральном государственном историческом архиве СССР, на которую исследователи до настоящего времени не обратили внимания. Рукопись хранится в ленинградском архиве в фонде графов Головиных и Фредро и составляет шесть единиц хранения. Вместе с рукописью сохранились письма Коллара к мекленбургскому библиотекарю Гентцену, а также письма его вдовы Ф. Коллар. Все эти материалы не вводились в научный оборот и не были известны советским и чехословацким историкам [1].

Рукопись сопровождает «Записка», составленная в Новых Стрелицах в мае 1869 г., содержащая 90 листов текста на немецком языке. Сама рукопись — два тома сочинения Коллара на немецком языке — автограф словацкого ученого. Кроме того здесь же находятся и два тома писарской копии этого труда с пометами Коллара на полях и вклейках. На обложке рукописи сохранилась надпись, сделанная библиотекарем Ганушем из Праги. К рукописи приложено около 200 рисунков ретранских древностей, выполненных профессиональным художником. В самом тексте есть рисунки, сделанные рукой Коллара. В оглавлении рукописи указана и третья глава сочинения, но ни автограф, ни писарская копия ее не сохранились.

Имя Я. Коллара чаще всего связывают с его поэтической деятельностью, подробно изучена его концепция славянской литературной взаимности. Менее известен Коллар как археолог, хотя именно он стал первым профессором славянской археологии в Европе. Этому «забвению» есть объяснение: уже при жизни Коллара его археологические изыскания были объявлены ненаучными и фантастическими. Построения ученого, искавшего славянские древности в Италии и Индии, не были поддержаны в современных ему научных кругах. Его книги «Богиня Славы» и «Старо-Италия славянская» были подвергнуты беспощадной критике. Однако Коллар продолжал настойчиво искать подтверждения своей гипотезы и нашел их уже на северо-западе Европы в Мекленбурге.

История ретранских древностей, на которые обратил внимание Коллар, была предметом споров историков уже не одно десятилетие. В XVII в.

Рокина Галина Викторовна — канд. ист. наук, ст. преподаватель Мар. ГПИ им. Крупской.

в местечке Прильвиц в Мекленбурге местный пастор откопал в своем саду два сосуда с фигурками божков, литыми из серебра и других металлов. Позднее местный суперинтендант Маше издал их рисунки и дал описание этих божков. В научных кругах находки вызвали сенсацию. Появилось много сомневающихся в их подлинности, считавших их подделкой — в частности, и слависты — Добровский, Шафарик. Однако Коллар придерживался иной точки зрения. Еще во время своих путешествий по Италии среди этрусских древностей он находил подобные ретранским фигурки богов. Словацкий ученый решил доказать их истинность. С этой целью он собрал огромное количество материалов, на основе которых написал обширный труд «Боги Ретры». Надо заметить, что Коллар не был единственным, кто верил в подлинность ретранских идолов. Еще ранее ими занимались братья Гримм, а позднее И. И. Гануш и К. Шульц.

В лекциях по славянской археологии в Венском университете Коллар отводил этим находкам большое внимание. Во «Введении при открытии лекций по археологии» он указывал: «Нам достаточно того, что более чем 200 истинных творений и памятников мифологии счастливый случай... сохранил славянскому народу... Это те самые знаменитые ретранские идола, которые были найдены в Прильвице и сейчас хранятся в Ново-Стрелицах. Как старославянский язык Библии и других рукописей является хранителем многих славянских наречий, так и ретранская мифология сохранила мифологию отдельных славянских племен» [2].

Многих исследователей творчества Коллара интересовал вопрос о том, в какой степени словацкий ученый занимался проблемой ретранских идолов и в какой стадии находился его труд, посвященный им. Так, Ф. Пастрнек в статье «Об археологических трудах Коллара» писал: «Главным предметом исследования Коллара в последние шесть лет... были славянские древности, их следы он искал в Италии». В целом Пастрнек дает негативную оценку археологическим трудам Коллара, считая их ненаучными и фантастическими. Статья чешского историка не содержит сведений о последнем сочинении Коллара, однако в ней замечено, что «венский ученик Коллара Сойка был автором безосновательного утверждения, что будто бы труд Коллара о ретранских идолах был напечатан» [3, s. 237].

Не располагая, по-видимому, данными о работе Коллара в Мекленбурге, исследователь венского периода жизни Коллара, другой чешский ученый — Й. Карасек в статье «Ян Коллар в Вене» утверждает, что в 1850—1851 гг. Коллар главным образом работал над сочинением «Старо-Италия». Об исследовании Колларом ретранских идолов он сообщает лишь следующие факты: в 1850 г. Коллар ездил в Мекленбург, где изучал ретранские древности, которые считал истинными, «поэтому он читал о них в университете и кроме того писал» [3, s. 70].

Наибольший интерес представляет статья В. Вондрака, специально посвященная сочинению Коллара о ретранских находках [3, s. 243—246]. Этот исследователь располагал рядом интересных документов, касающихся работы Коллара с прильвицкими древностями. Коллар, еще будучи проповедником в Пеште, стремился попасть в Мекленбург, чтобы самому увидеть ретранских идолов. В. Вондрак приводит черновой вариант просьбы Коллара к мекленбургским властям о поддержке его путешествия в Новые Стрелицы, написанный в марте 1849 г. С этого момента завязалась переписка Коллара с библиотекарем из Новых Стрелиц Гентценом, под чьим присмотром находились ретранские идола. Получив место профессора славянской археологии в Венском университете, Коллар продолжает переговоры с Гентценом по поводу своего путешествия в Новые Стрелицы для работы с находками. При поддержке герцога Мекленбургского Коллар приезжает в Новые Стрелицы, где в течение девяти недель работает с ретранскими древностями. По окончании этой работы он пишет письмо герцогу, где выражает свою уверенность в подлинности находок и сообщает о результатах исследования [3, s. 244]. Эта коллекция, по мнению Коллара, имеет огромное значение.

В дальнейшем Коллар интенсивно работал с собранным материалом,

о чем свидетельствует поданная им в декабре 1851 г. просьба министру просвещения Туну о разрешении отсылать и получать по почте австрийской монархии корректуры его труда из Новых Стрелиц. При этом о своем сочинении он сообщает следующее: «Об идолах в Ретре-Прильвитце... я написал труд под названием „Боги Ретры“... В нем 52 листа in folia с 253 изображениями богов и жертвоприношений. Сочинение написано на немецком языке и состоит из трех томов. Все должно быть напечатано, а изображения литографированы в Новых Стрелицах» [3, s. 244].

Однако смерть Коллара 24 января 1852 г. прервала планы ученого. Печатание сочинения так и не было начато, хотя литографии к нему были сделаны. Еще в 1851 г. в России поспешили опубликовать рецензию на сочинение Коллара и объявить на него подписку. Автором рецензии в «Журнале Министерства народного просвещения» был И. И. Срезневский, в частности, сообщавший русским читателям следующее: «Это новое творение выйдет в непродолжительном времени великолепным изданием под покровительством ее императорского величества государыни великой княгини Елены Павловны... Печатание произведения уже начато; начато и литографирование прилагаемых к нему рисунков. Издание не замедлит появиться в свет в течение следующего 1852 г.» [4]. Именно рецензия И. И. Срезневского породила в русской и в советской историографии ряд недоразумений, касающихся издания «Богов Ретры».

Как свидетельствуют письма, обнаруженные в ЦГИА, после смерти Коллара начались томительные переговоры вдовы ученого Ф. Коллар и библиотекаря Гентцена. Посредником в этих переговорах выступал некто Барневитц, доверенное лицо герцога Мекленбургского, супруг великой княгини Елены Павловны. Вдова не спешила передавать рукопись сочинения прежде, чем получит за нее деньги. Но и другая сторона стремилась застраховать себя, так как еще не было точно известно, в каком состоянии находится рукопись. В итоге Барневитц обратился к библиотекарю Ганушу в Прагу, чтобы он сообщил ему, в какой степени труд Коллара готов к публикации. О результатах проверки Гануша сообщает сама Ф. Коллар в письме от 16 ноября 1853 г.: «Первый и второй тома сочинения, которые Гануш видел, по сути дела готовы, но для печати их необходимо доработать (много исправлений, пробелов, трудночитаемый текст). Третьего тома и введения ко всему сочинению Гануш вообще не видел» [3, s. 245].

Сохранился текст договора, который был заключен между вдовой Коллара и библиотекарем Гентценом в 1856 г. По этому договору вдова продавала рукопись Гентцену за 500 талеров. После выхода первого и второго томов сочинения Коллара рукопись должна была стать собственностью великой княгини Елены Павловны. Историю о продаже рукописи Коллара и ее дальнейшей судьбе (до сегодняшнего обнаружения в ЦГИА) завершает небольшая заметка 1872 г. в «Вестнике библиографическом». В ней сообщалось, что вдова Коллара продала рукопись «Боги Ретры» за небольшую сумму библиотекарю Гентцену из Новых Стрелиц. Якобы рукопись хотело приобрести «какое-то ученое славянское общество» [5].

В архиве Чешского музея в Праге (а в настоящее время в пражском архиве «Памятник национальной письменности») сохранились некоторые подготовительные материалы Коллара к сочинению «Боги Ретры». Однако в статье В. Вондрака сделано заключение, что по этим заметкам трудно судить, было ли это сочинением «по сути дела готовым», как уверял Гануш, и «была ли еще какая-то другая рукопись и что с ней стало, трудно предполагать» [3, s. 246].

Такой итог был подведен в чешской историографии относительно судьбы сочинения Коллара, и в дальнейшем к этим вопросам деятельности словацкого ученого почти не обращались. Исключение составляют две работы, специально посвященные археологическим изысканиям Коллара. В 40-е годы нашего столетия Й. Скутил в статье «Ян Коллар и археологические исследования» указывает на то, что «сведения Коллара об археологических находках заслуживают внимания историков и их разбора» [6]. Й. Скутил подробно анализирует сочинения Коллара — «Богиню Славы», «Путешествия», «Старо-Италию», оценивая в них отдельные по-

знания Коллара-археолога как достаточно научные. Автор статьи не обходит вниманием и последнее сочинение Коллара о ретранских идолах, считая, что это был «трагический эпизод» в жизни словацкого ученого. Й. Скутил показал, что «Боги Ретры» должны были стать «северным» продолжением той концепции, которую Коллар развивал в «Старо-Италии», но продолжением ошибочным и неверным. По мнению Й. Скутила, наиболее слабой стороной в доказательстве истинности ретранских древностей у Коллара было то, что он проводил его не с позиций археолога, а с позиций славянской мифологии.

Почти через тридцать лет в сборнике материалов научной конференции, посвященной жизни и творчеству Коллара, была помещена небольшая статья Я. Скутила — «Ян Коллар и моравские археологи» [7]. Брненский исследователь предлагает вновь вернуться к археологическим исследованиям Коллара и критически оценить их с позиций современной науки, не игнорируя «счастлившую интуицию певца „Дочери Славы“ в области славистики, в топонимике и археологии».

В настоящее время в связи с возможностью обратиться к найденному сочинению Коллара становится, на наш взгляд, реальной критическая оценка ее специалистами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЦГИА СССР, ф. 1076, оп. 1, ед. хр. 53—58.
2. Přímluva při otevření archeologických přednášek 15. října 1851 ve Vídni od J. Kollára.— *Věsna*, 1851, с. 118, s. 487—488.
3. Jan Kollár: Sborník statí. Viedeň, 1893.
4. ЖМНП, 1851, ч. LXX, отд. II, с. 87—99.
5. *Věstník bibliografický*, 1872, č. 2, s. 39.
6. *Skutil J.* Jan Kollár a archeologické památky.— Sborník muzealnej slovenskej spoločnosti, r. XXXVIII, 1944—1948, s. 69—111.
7. *Skutil J.* Ohlas J. Kollára u moravských archeologů.— *Biografické študie*. Martin, 1976, s. 173—174.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

J. GEBHART, J. KOUTEK, J. KUKLIK. Na frontách tajné války. Kapitoly z boje československého zpravodajství proti nacismu v letech 1938—1941. Praha, 1989, s. 384.

Я. ГЕБХАРТ, Я. КОУТЕК, Я. КУКЛИК. На фронтах тайной войны. Очерки борьбы чехословацкой разведки против нацизма в 1938—1941 годах

О работе разведки и разведчиков писали и пишут многие литераторы и публицисты. А историки? И здесь ответ будет не столь скор и однозначен. История разведывательных служб малоизвестна, поскольку их деятельность составляет то, что именуется «государственной тайной», а материалы, которые могли бы приподнять завесу над ней, как правило, не доступны исследователям. Между тем результаты деятельности тайных служб зачастую оказывают непосредственное влияние на ход истории, на тот или иной поворот событий, то или иное решение, особенно в области внешней политики. Преувеличивать значение этих служб историку, конечно, нельзя, но и недооценивать не должно.

Книга трех чешских авторов, вышедшая в издательстве «Панорама», посвящена именно таким вопросам. Это — высокий класс научно-популярного издания, основанного как на ранее изданных работах авторов по истории антифашистской освободительной борьбы в чешских землях, так и на анализе огромного количества архивных документов и мемуаров; впервые введенных в научный оборот и проливающих свет на многие «белые пятна» истории чешского Сопротивления. Хронологически книга охватывает период с осени 1938 г. (после Мюнхена) до лета 1941 г. (нападения фашистской Германии на СССР), т. е. начальный этап формирования антифашистского движения Сопротивления, органической составной частью которого авторы считают сбор разведывательных данных разного рода, от сведений военного плана и до характеристики настроений населения.

Авторы подробно рассказывают об организации разведывательной службы в чешских землях (протекторате Чехия и Моравия) и за рубежом, путях и способах передачи собранной информации, ее содержании, отдельных разведчиках и организованных группах. Книга буквально «населена» людьми: здесь приведены десятки имен тех, кто «добывал» информацию, фотографии наиболее крупных (как ясно теперь) разведчиков.

Безусловное ее достоинство в том, что в ней показан особый характер разведывательной службы в оккупированных чешских землях: ее превращение из узко-профессиональной, охватывающей лишь небольшой круг специально подготовленных лиц, в сравнительно массовую, имеющую широкую сеть патриотически настроенных гражданских информаторов. Сведения поступали отовсюду: от рабочих и инженерно-технического персонала промышленных предприятий (внимание, конечно, акцентировалось на объектах военного значения), железнодорожников, работников связи, журналистов, деятелей культуры, служащих различных государственных учреждений, в том числе полиции, а также от лиц, близких к правительству протектората. Эта информация при сопоставлении и анализе давала возможность составить достаточно объективное представление о положении в оккупированных чешских землях, о политике и планах нацистов и их подручных, в том числе и в международной области.

Английской Интеллидженс сервис, специализирующейся на зарубежной политической разведке, очень высоко, например, котируются данные, поступавшие

из чешских земель, а также из чехословацких разведцентров, находившихся за рубежом, в частности, в Бухаресте, Стамбуле, что давало возможность оценивать ситуацию на Балканах. Сведения посредством радиодешеш или с курьером переправлялись чехословацким эмигрантским кругам на Западе, а с лета 1940 г. — временному чехословацкому эмигрантскому правительству в Лондоне. Эти материалы находятся в Центральном государственном архиве в Праге и, как видно, из книги, доступны исследователям.

Советский Союз также имел свою разведывательную службу в протекторате. Информация шла через Генеральное консульство СССР в Праге, а возможно, и по другим каналам. Однако о ее содержании, качестве, объеме судить довольно трудно, поскольку авторы не располагали для этого необходимыми материалами, находящимися, по всей видимости, в Архиве КГБ СССР, закрытом и для советских исследователей. Однако на доступных источниках чешским историкам удалось реконструировать (и это особенно интересно для советского читателя) отношения профессиональной (внутренней и зарубежной) чехословацкой разведывательной службы и советских разведорганов, действовавших в оккупированных чешских землях или за рубежом, главным образом на Балканах.

Авторы отмечают, что сотрудничество между советской и чехословацкой разведками существовало еще до Мюнхена, но после заключения советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г., начала второй мировой войны и советско-финляндской (1939—1940) войны все контакты между ними были прерваны (с. 202). В книге рассказывается о налаживании в новых условиях советской разведывательной службы в протекторате Чехия и Моравия, чем поручено было заниматься сотруднику Генконсульства Л. Мохову, известному в пражском Сопротивлении под псевдонимами Рудольф, Орлов или просто «атташе». От него полученные сведения передавались с диппочтой в Советский Союз.

Активную роль в сборе сведений играл один из видных деятелей КПЧ К. Конрад-Беер, который работал в советском Генконсульстве помощником референта по печати и культуре и был связан с подпольными организациями самого разного направления. Одновременно он передавал советский информационный мате-

риал нелегальному руководству КПЧ и, что следует из нацистских источников, финансовые средства на подпольную работу партии (с. 203).

Читателю интересно будет узнать, как формировалась сеть советских резидентов в оккупированных чешских землях, состоявшая из советских граждан, эмигрантов, лиц, дружественно относящихся к СССР, а также из специально подготовленных членов чехословацкой военной группы, интернированных на советской территории после поражения Польши.

Контакты между советскими и чехословацкими разведслужбами активизировались после поражения Франции в июне 1940 г., когда в чешском обществе на смену периоду охлаждения к Советскому Союзу, вызванного разочарованием в его внешней политике, снова обозначился поворот в настроениях в пользу «великого славянского» соседа на Востоке, от которого ожидалась помощь в освобождении от нацистского ярма. Инициатива в налаживании связей исходила от организаций Сопротивления в чешских землях и была поддержана советской стороной, которая вскоре и предложила развернутый план конкретных действий.

В книге детально рассматривается ход переговоров по этому вопросу как в стране, так и за рубежом, главным образом в Стамбуле. В частности, приводятся очень интересные, но, к сожалению, чрезвычайно фрагментарные (из-за отсутствия надлежащих источников) сведения об участии подполковника Л. Свободы в налаживании этих контактов. Очевидно, более подробно об этом можно было бы узнать из закрытых советских архивов.

Установление сотрудничества между советской и чехословацкой разведывательными службами, как показано в книге, было с большой настороженностью встречено чехословацкой эмиграцией в Лондоне, в частности Бенешем, который рекомендовал в этом вопросе осторожность и осмотрительность, опасаясь возможных политических последствий такого сотрудничества и усиления влияния Советского Союза на движение Сопротивления в стране.

Представляется, что в оценке позиции Бенеша авторы, сделавшие попытку всесторонне рассмотреть этот вопрос, все же отдали определенную дань сложившимся стереотипам, говоря о безусловно классово-политическом характере его по-

Ведения и «тактизировании» в переговорах с советской стороной (s. 247). Вместе с тем приводимый ими материал более, чем какие-либо оценки, объясняет действия Бенеша как прогрессивного буржуазного политика-реалиста. Ведь он и многочисленные представители чехословацкой эмиграции жили в Лондоне; Великобритания летом 1940 г. признала Временное чехословацкое правительство и были надежды, хотя пока и туманные, что со временем она признает и восстановление Чехословакии в домюнхенских границах. Отсюда понятны его заявления, что «мы не делаем никогда и ничего против интересов Англии», что «в настоящее время только Англия поддерживает нас в международном плане и содействует практически нашему заграничному сопротивлению. Поэтому мы не можем делать с Россией то, что поставило бы под угрозу наши отношения с Англией. Черчилль ни в коем случае не хочет идти против России и наоборот рассматривает на сотрудничество. Мы хотим, чтобы и наше сотрудничество с Советами шло параллельно развитию сближения Советов и Англии» (s. 245). Видимо, эта позиция в тех конкретных условиях была весьма разумной, реалистической и заслуживающей понимания.

Далее. Каждый шаг, каждое действие советской стороны Бенеш рассматривал тогда, и не без основания, в контексте стратегической линии Коминтерна, сформировавшейся в тесной связи с новым внешнеполитическим курсом Советского Союза и нацеленной на выход из войны путем пролетарской революции. Поэтому естественными были его предостережения о возможности попасть в политическую зависимость от Советов и напоминание, что они «всегда будут поступать так,

чтобы при разложении Германии коммунисты выиграли и у нас» (s. 246). Насильственного насаждения коммунистической идеологии и возможных в этом направлении шагов тогда боялись все западные демократы.

Наконец, в решении вопроса о сотрудничестве с советской разведкой, видимо, немалую роль должны были играть и чехословацкие военные круги на Западе. А разве не могло на их позициях сказаться то, о чем говорил начальник Политического управления Красной Армии Л. Мехлис в докладе ЦК ВКП(б) в мае 1940 г.: «В отношении армий малых сопредельных с Советским Союзом стран у наших командиров и политработников заметно пренебрежение и высокомерность?» [1]. Не имеющая прямого отношения к чехословацким военным, эта констатация может отчасти объяснить и достаточно широко распространенные среди них антисоветские настроения.

Непредсказуемость советской внешней политики и отсюда — недоверие к ней, осторожно-выжидательное поведение посла СССР в Великобритании И. Майского, с которым Бенеш контактировал, начавшиеся в это время переговоры с Польшей о создании польско-чехословацкой конфедерации — все это и предопределило тогда позиции Бенеша в вопросе контактов с Советским Союзом.

Материалы книги, в том числе о взаимоотношениях советской и чехословацкой разведслужб, представляют несомненный интерес и могли бы быть рекомендованы для опубликования в советской печати.

Марьина В. В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Известия ЦК КПСС, 1990, № 3, с. 201.

Д. ПЕТРОВА. Самостоятельность управление на БЗНС. 1920—1923 г
София, 1988, 413 с.

Д. ПЕТРОВА. Самостоятельное правление БЗНС. 1920—1923 гг.

В центре внимания рецензируемого исследования — внешняя и внутренняя политика Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) как самостоятельной политической силы.

Впервые в исторической болгаристике автором предпринята попытка показать влияние на внешнюю политику БЗНС не только внешних факторов (Антанты,

Межсоюзнической комиссии, соседних государств), но и оппозиционных внутриполитических сил. Автор делает небезуспешную попытку раскрыть сложность ситуации, которая возникла при проведении А. Стамболийским внешнеполитического курса. С одной стороны, сама идеология земледельческого движения предопределяла миролюбивый внешне-

политический курс Болгарии, ибо в ней уделялось в целом гораздо большее внимание внутренним социально-экономическим и политическим проблемам; к тому же международная ситуация сильно осложняла проведение активной внешней политики. С другой стороны, в условиях поражения Болгарии в первой мировой войне, усеечения ее территории и разъединения населения борьбу за суверенитет Фракии, обеспечение выхода Болгарии к Эгейскому морю, защиты болгарского меньшинства за пределами страны А. Стамболийский, как, впрочем, и буржуазные партии, рассматривал как отстаивание национальных интересов, что неизбежно сводило к минимальному успеху его миролюбивый курс. Положение БЗНС в качестве правящей партии объективно заставляло правительство проводить сложную политику компромиссов между желаемым и действительным. Любая же неудача А. Стамболийского в сфере защиты интересов страны на международной арене расценивалась как предательство национальных интересов, что давало определенные козыри в руки оппозиции во внутривнутриполитической борьбе. В связи с этим весьма интересной представляется интерпретация автором известного факта — отказа болгарской делегации на Лозаннской конференции от предложения Э. Венизелоса об обмене территориями. Стамболийский его отклонил, расценив как полумеру, поскольку «не желал убивать идеал болгарского народа» (с. 324).

Констатируя неуспех в целом миролюбивой внешней политики правительства А. Стамболийского, автор тем не менее достаточно высоко оценивает результаты усилий А. Стамболийского в вопросе о репарациях, об иностранных займах (в Бельгии и во Франции), покрывавших довоенные долги и предоставлявшихся стране на 30 лет; подчеркивает, что разрешение репарационных вопросов позволило болгарской стороне в апреле 1923 г. поставить в Лиге Наций вопрос о ликвидации военного контроля и о беженцах; ввиду постоянного терроризирования болгарского меньшинства в Западной Фракии было внесено предложение отнять у Греции мандат на эту территорию.

Однако эти новые и порой неожиданные, на наш взгляд, выводы не получают должного развития в работе и иногда малозаметны, так как теряются в массе уже известных и неоспариваемых интерпретаций.

К числу достоинств монографии можно

отнести главы, посвященные взаимоотношениям БЗНС с правой и левой оппозицией. В книге прослеживается достаточно четкое разграничение политических линий в тогдашней внутривнутриполитической ситуации в стране: земледельческая, буржуазная, коммунистическая. Автор справедливо указывает на догматизм тогдашнего руководства БКП и определенную оторванность политики коммунистов от реалий конкретной исторической ситуации. В то же время интересной представляется приведенная автором оценка противоборствующих течений внутри БЗНС, данная коммунистами в 1923 г. Крыло Турлакова они определили как старую сельскую буржуазию, стремившуюся освободиться от мелкобуржуазной программы и в союзе со старыми партиями защищать свои классовые интересы, а крыло Стамболийского — как новую сельскую буржуазию, желавшую править самостоятельно, объединяя вокруг себя малоимущие сельские слои.

Однако большее внимание Д. Петрова уделяет взаимоотношениям БЗНС с буржуазной оппозицией, отмечая постепенную консолидацию последней и приход к ее руководству, в конечном счете, самых реакционных правых сил. Автор подчеркивает важность для развития политической ситуации поражения оппозиции в результате проведения народного референдума по вопросу о суде над виновниками «национальной катастрофы», что помешало правительству правильно оценить расстановку сил в стране; значение кюстендильских событий, после которых в правящей среде БЗНС создалось ошибочное мнение, что главная опасность для режима — Внутренняя македонская революционная организация. Более того, не предприняв мер по ее обузданию, БЗНС ослабил бдительность по отношению к буржуазной оппозиции в целом и к Военной лиге, в частности. По нашему мнению, результаты референдума следовало бы подвергнуть более строгому и глубокому анализу тем более, что в Софии, Пловдиве, Сливене и Кюстендиле БЗНС потерпел поражение.

Одобрения заслуживает внимание, которое уделено в книге внутренней политике БЗНС и анализу постепенной политической эволюции Земледельческого союза. Автор верно видит причины частых кабинетных кризисов правительства А. Стамболийского в разногласиях между правым и левым течениями в Союзе. Иногда, как справедливо отмечается, усиление правых в правительстве являлось

результатом искусного лавирования Стамболийского между правыми в БЗНС, оппозицией и Межсоюзнической комиссией.

Подвергая подробному анализу реформы, проводимые БЗНС, Д. Петрова отмечает их незавершенность, порой утопичность, при всей демократичности и антикапиталистической направленности. Наиболее радикальная среди реформ — закон о трудовой поземельной собственности, — по мнению автора, противоречил сословной теории и был одним из первых шагов к разрыву с ней. На наш взгляд, анализ характера власти БЗНС стоило бы углубить, довести до логического конца. Ведь в монографии акцентируется внимание на достаточно сильной позиции в БЗНС левых во главе с Р. Даскаловым, видевшим будущее Болгарии в «новом обществе», основывающемся на народовласти и ликвидации экономического угнетения; модернизации сельского хозяйства на базе крупных сельскохозяйственных хозяйств. Вместе с Даскаловым А. Стамболийский в 1923 г. намечал три этапа национализации средств производства. Представляется необходимым дать однозначную оценку изменению избирательного закона (апрель 1923 г.) и результатам парламентских выборов, а также наметившейся тенденции в политике последних кабинетов правительства А. Стамболийского к ограничению сферы влияния монархического института в стране.

Впервые, по нашему мнению, автор поднимает вопрос о бюрократизации, особенно на местах, сельскохозяйственной власти, которая, как и недостаточная порой компетентность руководителей, наносила заметный вред проведению в жизнь политики центра, позволяла оппозиции

использовать не такие уж редкие факты подобного рода.

Некоторое сомнение вызывает объяснение автором сложности формирования наемной армии отсутствием традиций военной службы в Болгарии (регулярная армия была распущена Межсоюзнической комиссией). Более верным нам представляется другое объяснение: руководство БЗНС боролось против офицерского состава прежней армии, который в целом был враждебен земледельческому режиму; уволив всех кадровых офицеров, оно не могло набрать новых достаточно квалифицированных кадров из политически подходящей среды, отсюда снижение дисциплины и другие факты, о которых пишет автор; к тому же крестьяне не желали идти на 12 лет служить в армию даже за плату и последующее получение земли.

В своей работе Д. Петрова вплотную подошла к переоценке места и роли БЗНС в болгарской истории этого периода: приводимые факты и анализ деятельности земледельцев во многом меняют устоявшиеся взгляды и отношение к Земледельческому союзу. Однако анализ, предпринятый автором монографии, позволяет сделать более острые, более критичные и более последовательные выводы в отношении идеологии, социально-политических целей и методов политической борьбы БЗНС.

Высказанные замечания и пожелания несколько не снижают весьма высокой оценки работы, полной новаторских по характеру, глубоких размышлений. Монографию, несомненно, следует отнести к серьезным достижениям болгарской исторической науки.

Семенов К

J. PÁNEK. Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance. Praha, 1989, 456 s.

Я. ПАНЕК. Последние Рожмберки. Вельможи чешского ренессанса

Книга известного чешского специалиста по истории XVI в. Ярослава Панека представляет собой первое подробное историческое исследование одного из крупнейших европейских дворянских родов — Рожмберков, сыгравших в эпоху Ренессанса видную роль в политической и культурной жизни Чешского государства. В центре внимания автора две ключевые

фигуры чешской аристократии второй половины XVI в. — Вилем и Петр Вок Рожмберки. Вилему (1535—1592) удалось восстановить былую славу рода и достичь благодаря своему богатству, знатности и, главное, политическим способностям высших должностей в сословной структуре государственного управления. Он был настолько влиятелен как поли-

тический деятель, признаваемый в международном масштабе, что его кандидатура выдвигалась на выборах короля Речи Посполитой в 1575 г. Петр Вок (1539—1611) — фигура почти легендарная в чешской культурной традиции последующих эпох. Последний в роде, щедрый меценат, покровитель Общины чешских братьев, порвавший с католицизмом, крупнейший вельможа, не занимавшийся «политическими играми», он в решающий момент жизни государства проявил себя как мудрый и решительный политик, возглавив в 1609 г. сословную оппозицию, добившуюся от императора Рудольфа II принятия Магистата о свободе вероисповедания, и как благородный патриот, пожертвовав значительной частью родового состояния во имя безопасности государства и взяв на себя основную тяжесть финансового урегулирования военной авантюры, связанной с приглашением Рудольфом II войск из Пассау, которые грабежом Чехии пытались сломить сословную оппозицию. Петр Вок стал персонажем народной легенды, запечатлен в произведениях чешской литературы, изобразительного искусства и музыки, занял определенное место в чешской исторической традиции.

Я. Панек объясняет рождение этой традиции в атмосфере упадка страны после опустошительной Тридцатилетней войны и фактической потери Чехией независимости спецификой восприятия деятельности последних Рожмберков новой эпохой, особо оценившей их патриотизм, сочетавшийся с лояльным, но полным сознанием чешского государственного достоинства отношением к правящей династии Габсбургов.

В книге подробно излагается генеалогический аспект истории рода Рожмберков, дается широкая панорама политической и культурной жизни Чешского государства во второй половине XVI в., на фоне которой подробно прослеживаются труды и дни двух крупнейших чешских магнатов. Изложение опирается на богатейшие источники нарративного, актового и статистического характера, среди которых следует выделить значительный памятник чешской историографии —

«Рожмберкскую хронику», написанную придворным архивариусом Вацлавом Бржезаном. Недавно вышло в свет новое издание этого источника, подготовленное на высоком уровне Я. Панеком [1].

В монографии тщательно анализируются различные аспекты деятельности Вилема и Петра Вока: экономическая политика, направленная на создание крупного доменального хозяйства; политическая линия поддержки сословных институтов, во главе которых они часто оказывались, активная династическая политика; отношение к религиозной ситуации, в которой к концу XVI в. морально-религиозные аспекты неразрывно связывались с национально-политическими проблемами; меценатская практика — создание в своих владениях своеобразного «ренессансного центра» чешской культуры, покровительство Пражскому университету, оказание поддержки (особенно Петр Вок) крупнейшим ученым мира, работавшим в Праге: датскому астроному Тихо Браге, немецкому физику, астроному и астрологу Иоганну Кеплеру, словацкому медику Яну Эссениусу. Петр Вок поддерживал чешскую ренессансную литературу, прежде всего историографию (например, творчество Яна Коцина и Вацлава Бржезана), и музыку.

Я. Панек дает обзор оценок Рожмберков в исторической науке, обращает внимание на необходимость снятия национально-романтического ореола с этих фигур и применения строго исторических критериев при освещении их деятельности.

Книга Я. Панека задумана шире, чем академическая научная монография. Написанная прекрасным языком, живо и увлекательно, и в то же время строго научно, она делает доступным не только специалистам, но и более широкому кругу читателей насыщенный, интересный, весьма сложный материал чешской истории XVI в.

Мельников Г. П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Březan V. Životy posledních Rožmberků. D. I—II. Praha, 1985.

Этимологический словарь старославянского языка. 1. Введение, сокращения.

Вышел из печати первый выпуск Этимологического словаря старославянского языка, подготовленного коллективом этимологов в секторе славянской этимологии Академии наук ЧСФР (Брно). Данный словарь — своего рода приложение к Словарю старославянского языка, работа над которым завершена (в печати последний четвертый том). Он основан на материале этого словаря и будет состоять приблизительно из 1400 словарных гнезд и более 1000 отдельных слов. Полный индекс выйдет в конце всего издания и будет содержать список всех лексем с указанием на словарную статью, в которой разработана его этимология. Словарь будет выходить выпусками в формате и оформлении, принятых в Словаре старославянского языка ЧСАН.

Будучи связанным со Словарем старославянского языка, данный труд имеет самостоятельное научное значение. У славистики еще нет словаря, специально посвященного этимологическому анализу священного состава старославянского языка — первого письменно-литературного языка славянских народов. Справочная этимологическая часть однотомного словаря Л. Садник и Р. Айтцетмюллера [1] содержит 1180 словарных статей, в которых кратко даны этимологические справки с указанием и литературы вопроса. Несмотря на всю ценность этой части Словаря Л. Садник и Р. Айтцетмюллера, многие этимологии со времени ее опубликования получили новые толкования, а литература по славянской этимологии за последние 35 лет умножилась весьма значительным числом чрезвычайно ценных работ, в том числе и академических этимологических словарей по различным славянским языкам и обобщающих фундаментальных исследований как собственно этимологических, так и сопредельных с ними.

В работе над Этимологическим словарем принимают участие слависты-древники — этимологи и старославянисты. Главный редактор — известный этимолог Ева Гавлова; члены редколлегии — Э. Благова, З. Гауптова, Е. Гавлова, Я. Петр, Р. Вечерка. Э. Благова — один из основных авторов Словаря старославянского языка ЧСАН, З. Гауптова —

его главный редактор, Р. Вечерка — член его редколлегии, автор одного из лучших учебников старославянского языка и монографий по синтаксису старославянского языка, этимологии.

Авторы словарных статей Этимологического словаря старославянского языка — Л. Ганзикова, Е. Гавлова, И. Янышкова, Х. Карликова, П. Пеняж, Х. Плевачева, Б. Скалка, З. Шарапаткова, В. Шаур, Д. Тенорова, П. Валчакова. Все они опытные этимологи, сотрудники Сектора этимологии Академии наук Чехословакии (отделение в Брно); многие — авторы фундаментального Этимологического словаря славянских языков, над которым они долгие годы работали под руководством проф. Фр. Копечного и который, к глубокому сожалению, не завершен по независящим от авторов причинам.

Этимологический словарь старославянского языка (далее: ЭСЯС; СЯС — общепринятое сокращение чешского названия Словаря старославянского языка ЧСАН — *Slovník jazyka staroslověnského*) содержит этимологические сведения по каждому слову, представленному в СЯС, при этом (в отличие от словаря Л. Садник и Айтцетмюллера) рассматриваются не только славянские слова, но и грецизмы (в том числе и гебраизмы, арамеизмы, сирийские и другие неславянские лексемы, заимствованные в старославянский язык через греческое посредство), а также и различные имена собственные (кроме библейских имен), славянские и неславянские по своему происхождению, что представляет собой чрезвычайно ценное дополнение к материалам известных этимологических словарей славянских языков, с одной стороны, и очень важно для понимания древних текстов, с другой. Нельзя все же не пожалеть об исключении библейских имен, хотя связанная с ними проблематика не может рассматриваться как собственно этимологическая.

44 страницы из 64 первого выпуска ЭСЯС — различные справочные материалы, которые сами по себе представляют значительную ценность: принципы отбора и расположения материала, выделения словарных статей и их построения, фо-

нетической нормализации и транскрипции (все старославянские слова даются латиницей с добавлением ѣ и њ); список использованной литературы с указанием принятых сокращений (с. 5—34); список памятников (с принятыми сокращениями); список условных сокращений текстов Ветхого и Нового заветов (принятый в СЯС) и ряд других необходимых сокращений. Замечу, что сокращения литературных источников (словарей и различных языковедческих исследований) далеко не всегда являются общепринятыми, что заставляет чуть ли не в каждом конкретном случае обращаться к списку (который будет отсутствовать в следующих выпусках!). Разумеется, при пользовании словарем нужно идти от словарной статьи к списку (который очень содержателен и точен по выходным данным, содержит много новых исследований и словарей), но все же я не нашла (или пропустила) в этом списке ряд работ, достойных внимания этимолога, например, книгу В. Н. Топорова о локативе, монографии Е. Дограмаджиевой, Д. Ивановой-Мирчевой, И. Добрева, А. Минчевой и ряд других работ. Нет и сводного словаря русских говоров под ред. Ф. П. Филина (вышло 25 выпусков), Опыта областного великорусского словаря и Дополнений к нему 1852 и 1858 гг. Я думаю, что список источников многотомных словарей должен издаваться отдельной книгой (выпуском), как это сделано для Словаря русского языка XI—XVII вв., Словаря русского языка XVIII в. В этом плане список источников в ЭСЯС будет полезен и тем читателям СЯС, которые не имеют его первого выпуска (точнее: 2. Úvod) 1959 г. Безусловно, авторы ЭСЯС вправе пользоваться теми источниками, которые они считают нужными, но все же в списке значится ряд работ достаточно устарелых по своим положениям при отсутствии существенно важных новейших трудов (это касается прежде всего лексикологических и грамматических исследований).

Лексикографически словарные статьи построены очень четко, лаконично, содержат разнообразную информацию. Словарная статья строится следующим

образом (с учетом собственно старославянских источников). При заглавной статье указывается пометами часть речи, при изменяемых словах — формы, позволяющие судить о парадигме. Затем даются переводы на чешский и немецкий языки, перечисляются все зафиксированные в старославянских рукописях дериваты. В этимологическом разделе словарной статьи выделяется корень (основа) слова, приводятся соответствия из ряда славянских языков, дается собственно этимологический анализ. Так, где это возможно, указываются индоевропейские соответствия. В следующем разделе излагаются отличные от авторских этимологические решения с приведением основной литературы вопроса, очень четко при всей лаконичности изложения. Каждая словарная статья завершается указанием ее автора (инициалами). Выделяется обработка частиц (а), союзов (аѣ, аѡ, аѹ), местоимений (аз), предлогов (без). Облегчает пользование словарем система ссылок типа *bi v. byti, -birati v. byrati, -baviti v. izbaviti*. Особое место занимает этимологический комментарий грецизмов старославянского языка типа *akridъ, alavastъ, anathema, avъgustъ*.

Словарь — одно из первых изданий Института славистики ЧСАН (Ústav slavistiky CSAV), который, будем надеяться, продолжит славные традиции прежнего Славянского института, пользовавшегося и пользующегося по сей день международным признанием.

Слависты всех стран, несомненно, получают весьма квалифицированный научный труд, значение которого, как всякой фундаментальной лексикографической работы, трудно заранее предсказать во всей полноте. Остается пожелать его скорейшего опубликования вопреки сложившейся практике (СЯС печатается пятое десятилетие!).

Цейтлин Р. М.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sadnik L. und Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.*

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ И МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

В марте 1990 г. в секторе славянских литератур Института славяноведения и балканистики АН СССР состоялся методологический семинар, на котором обсуждались первые два тома пятитомного издания «Украинская литература в общеславянском и мировом литературном контексте», вышедшие в киевском издательстве «Наукова думка» в 1987 г.: том I — «Украинская дооктябрьская литература и славянский мир» и том II — «Послеоктябрьский период в кругу литератур социалистических стран»¹. Для обсуждения был выбран славянский материал.

Столь фундаментальный труд, посвященный роли одной национальной литературы в мировом литературном процессе (руководитель авторского коллектива, в который входят сотрудники научных институтов и вузов Украины, а также ученые ряда стран Восточной Европы чл.-корр. АН УССР Г. Вервес), создается впервые. Очевиден новаторский характер работы, в предисловии к которой отмечено стремление определить роль международных связей украинской литературы в различные исторические периоды, начиная с Киевской Руси и до нашего времени.

А. Липатов, остановивший свое внимание на первой части первого тома — «Украинская литература с древнейших времен до середины XIX в. в ее связях со славянскими литературами» — подчеркнул большое значение раздела о древней литературе (авторы В. Кречотень и Д. Наливайко), в котором украинская литература представлена в свете общеевропейских закономерностей, что позволяет выделить как ее универсальные ценности, так и собственно национальные особенности. Такой подход, равно как и уровень квалификации известных украинских исследователей, предопределили ценность этой явно выделяющейся на общем фоне главы. В то же время она, что вполне естественно, теперь уже несколько отстала от времени, отражает минувший этап исследований: в самые

последние годы у нас и за рубежом появился ряд работ, расширяющих наши представления о древности, а в ее рамках — о древних славянских литературах.

Пробелы этой части книги участники обсуждения усматривали в отсутствии ссылок на работы Д. Чижевского и других авторов, внесших большой вклад в разработку проблем славянской письменности, барокко и др. При обсуждении раздела, посвященного Просвещению, отмечалось отсутствие концептуальной целостности. Основным достоинством главы по романтизму («С конца XVIII в. до середины XIX столетия» — Вервес Г., М. Гольберг, В. Климчук, М. Мольнар, М. Неврли, В. Шевчук), вызвавшей оживленную дискуссию, было признано реализованное стремление ее авторов раскрыть сходные черты славянских литератур. Об этом говорили С. Никольский, Д. Прокофьева, Р. Доронина. В то же время, по мнению некоторых выступавших, этой главе недостает осмысления своеобразия украинской литературы, ее специфики.

К числу достоинств разделов, посвященных двусторонним литературным связям — «Украинско-чехословацкие литературные связи второй половины XIX ст.» (М. Мольнар и В. Шевчук), «Украинско-болгарские связи второй половины XIX ст.» (В. Климчук), «В связях с сербской и хорватской литературами 60—90-х годов» (М. Гольберг, П. Рудяков) диспутанты относили богатство конкретного материала, отмечая в то же время некоторую неубедительность характеристики общих типологических тенденций.

Вызвала дискуссию и третья часть первого тома — «Украинская литература в контексте зарубежных славянских литератур конца XIX — начала XX в.», особенно глава «Украинско-польское литературное пограничье» (Ю. Булаховская, Г. Вервес). Как подчеркивали О. Медведева и Н. Богомолова, период, для которого характерна синхронизация в развитии славянских литератур, их «выравнивание» с западными литературами дает не использованную авторами возможность напрямую сопоставлять модели разных национальных литератур, доминирующие в них тенденции. Существенной является и проблема определения хронологических рамок этого периода (несмотря на сходство

¹ Том III — «Украинская литература в общеславянском и мировом литературном контексте» (1988) — раскрывает связи с европейскими литературами, литературами Америки, Австралии, Ближнего и Среднего Востока. Содержание IV и V томов составляет библиография.

в развитии, границы периода в разных литературах разные). Но она, к сожалению, в разделе не затронута. В то же время авторы используют обширный фактический материал, проводят интересные тематические сопоставления.

Второй том посвящен взаимосвязи украинской литературы послеоктябрьского периода с литературами Восточной Европы XX в. В первой части, охватывающей 20—30-е годы, представлены связи украинской литературы с болгарской (В. Захоржевская), польской (В. Ведина), чехословацкими (Г. Сиваченко, В. Моторный, З. Геник-Березовская), югославскими (Т. Посудневская, П. Рудяков) и немецкой литературами (В. Гладкий). Как отмечали участники обсуждения, в разделе о межвоенном двадцатилетии в украинско-польских взаимодействиях слабо очерчен мировой и общеславянский контекст, а акцент сделан лишь на развитии социалистического реализма во всех литературных родах и жанрах. Много нового, малоизвестного, по мнению выступавших, несет в себе раздел о связях украинской литературы с чешской и словацкой литературами как межвоенного двадцатилетия (в частности, о сходстве стилистических поисков В. Ванчуры и Ю. Яновского), так и послевоенного периода (например, чешская тема в украинской поэзии).

Не все главы обсуждаемого труда стали объектом дискуссий. Однако и на основании рассмотренных разделов участники обсуждения пришли к выводу о том, что обращение к работе украинских исследователей, его изучение и обсуждение расширяет славистический кругозор, помогает выявить «белые пятна» в славистике. По мнению Л. Будаговой, трудность, неоднозначность восприятия этого фунда-

ментального труда в первую очередь связаны с тем, что он увидел свет в переходный период. Если бы он был издан несколько лет тому назад, вероятно, никого бы не удивило, что, к примеру, в работе нет имен ряда крупных ученых. Ведь имена эти были под запретом, многие квалифицировались как «буржуазные националисты». Не вызвала бы внутреннего протеста и традиционная для нашего литературоведения идеализация путей развития советской литературы, социалистического реализма, стремление обойти молчанием весь драматизм послеоктябрьской истории мирового революционного искусства и т. д. Если бы работа над многотомником продолжалась по сей день, вероятно, он был бы свободен от тех упрощений и недостатков, которые отражали объективные слабости нашей заидеологизированной науки, были их прямым порождением. В большой мере все сказанное относится ко второму тому, к главам, посвященным связям украинской литературы в советской период. Но, если отвлечься от некоторых традиционно решавшихся концептуальных вопросов, вызвавших наибольшие возражения, то нельзя не признать большую познавательную ценность даже самых спорных глав, где собран большой и мало известный материал и представлены конкретные факты взаимодействия украинских и зарубежных писателей.

Жанр хроники и его объем не позволяют подробно остановиться на всех выступлениях, передать атмосферу внимательной заинтересованности в постановке и решении профессиональных проблем, иницированную авторами многотомного коллективного труда.

Д. С.



СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСЛАВЯНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

29 ноября 1990 г. в Москве состоялось учредительное заседание Научного центра общеславянских исследований (Цеслав). Инициаторами его создания выступили Институт славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) и Научный совет по проблемам истории, национально-государственных отношений и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В число учредителей Цеслава также вошли следующие институты АН СССР: Институт истории СССР, Институт этнологии и антропологии, Институт мировой литературы, Институт русского языка, Институт международных политических и экономических исследований, Институт научной информации по общественным наукам. В работе учредительного заседания приняли участие представители ряда научных и государственных учреждений, общественных организаций, вузов страны. В качестве гостей присутствовали представители культурно-информационных центров Болгарии, Польши, Чехословакии; выразил поддержку созданию Цеслава культурно-информационный центр Югославии.

С докладом «Новая эпоха истории славянства и задачи славяноведения» на заседании выступил директор ИСБ д-р ист. наук, проф. В. К. Волков. Он отметил, что начиная с ноября 1989 г. в Европе произошли важнейшие события, изменившие лицо континента. И в эпицентре этого исторического поворота оказались славянские народы всех трех ветвей славянства. Каждый из них переживает ныне глубокий кризис, охватывающий все стороны бытия. Предстоящие 90-е годы будут для славянских народов переломными, определят дальнейшую судьбу каждого из них.

Крах «реального социализма» привел к резкому обострению национальных противоречий во всем регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Можно, пожалуй, даже говорить о явлении «славянской энтропии», о росте напряженности в отношениях между близкими по языку и культуре народами. Одновременно вставшее в повестку дня создание «общеевропейского дома» побуждает задуматься, удастся ли славянским народам сохранить свою культурную самобытность, свою индивидуальность в условиях резкого усиления интернационализации жизни? То, что можно назвать новым «славянским возрождением», требует совместных усилий всех славянских народов. Речь идет не об унификации их культур, а их всемерном развитии и взаимообогащении, о том, чтобы развитие славянских народов шло не по расходящимся линиям, ибо это грозит низведением их национального характера до фольклорного уровня.

Новая эпоха в истории славянских народов ставит и новые задачи перед наукой. Ныне за основу необходимо взять интегральную модель славяноведения. До сих пор во всех славянских странах из объекта славистических исследований изымается отечественная проблематика, причем эта часть теряет присущую славистике комплексность и изучается отдельными научными дисциплинами. Такое ограничение ощущается ныне как существенный изъян и в известной мере как анахронизм. Не дублируя деятельность ученых, трудящихся на ниве разных наук и изучающих различные стороны истории и духовной жизни славянских народов, следует шире ставить общеславянскую проблематику, охватывающую все ветви славянства.

Создание Научного центра общеславянских исследований, подчеркнул докладчик, призвано ответить на многие вызовы времени. В нынешних условиях усилия ученых должны быть направлены в первую очередь на выявление научной истины и утверждение исторической прав-

ды, причем правды полной, памятью о том, что выборочные умолчания являются одним из способов фальсификации истории. Такие умолчания, равно как и тенденциозное, одностороннее освещение ряда других фактов приводили в прошлом к созданию искаженной картины минувших столетий и недавнего прошлого, к возникновению «белых пятен», существование которых всегда ведет к подозрительности в отношениях между народами и государствами, к росту национальных предрассудков и преубеждений. В длительной исторической перспективе только полная правда служит подлинным национальным и государственным интересам, тогда как любое отступление от нее рано или поздно обернется потерями. История всех, в том числе и славянских, народов имеет светлые и темные страницы, на которых причудливо переплетены факты их сотрудничества и борьбы, взаимной поддержки и соперничества, культурного взаимодействия и военных конфликтов. И одна из задач Цеслава — правдивый показ сложности и многомерности прошлого. Долгие годы господства авторитарно-бюрократических режимов в славянских странах сопровождалась явлениями национального нигилизма, а также пренебрежительным отношением к научным достижениям, которые оказались не востребованными как правящими кругами, так и различными общественными слоями. Теперь прежняя апатия уступила место политизированному сознанию. Проблемы национальной истории, культуры, языка оказались в центре общественного внимания. Однако наряду с этими позитивными процессами наблюдаются попытки поставить науку в положение служанки вышедших на политическую арену новых сил, сделать ее заложницей новых идеологических установок. Поэтому возникают серьезные опасения, что место прежних стереотипов могут занять новые легенды и мифы, в основе которых, как и прежде, будут лежать пренебрежение к факту, неуважение к достижениям науки. Не вмешиваясь в политическую борьбу, Цеслав намерен противостоять любым попыткам псевдонаучного мифотворчества, с какой бы стороны они ни исходили. Отстаивая уважение к научным знаниям, Цеслав выступает за признание общественной роли ученого как эксперта при оценке событий и явлений прошлого и настоящего, против односторонности и предвзятости суждений, против отсутствия готовности выслушать альтернативную

точку зрения, подняться выше сиюминутной политической конъюнктуры.

В прошлом (а нередко и сейчас) ученый-обществовед зачастую представлял собой трагическую фигуру, стоящую с протянутой рукой. При этом он не просил, а предлагал свои знания. Однако спрос был редким и капризным. Сегодня такая фигура устарела. Ныне ученые должны сами определять, где нужны их знания, и идти туда, не дожидаясь особых приглашений. Нужна активная пропаганда научных знаний в противоположность новым мифам, являющимся антиподами науки. Учитывая опыт других стран, Цеслав намерен ориентировать свою деятельность на широкие общественные слои, проявляющие интерес к истории и культуре славянских народов.

В. К. Волков отметил, что одной из черт нашего времени является преодоление былой невольной замкнутости советских ученых, их искусственной изоляции от мировой науки. Цеслав также намерен внести лепту в этот процесс. Помимо расширения связей с заинтересованными научными центрами и отдельными учеными в западных государствах, особое внимание следует уделить славянской диаспоре, ее научным центрам, землячествам различных славянских народов. Сотрудничество с ними не только обогатит нашу интеллектуальную и духовную жизнь, но и будет способствовать тому, чтобы славянские голоса громче слышались в мировой полифонии.

Выступившие затем Л. Еленков (директор Болгарского информационно-культурного центра), С. О. Шмидт (председатель Археографической комиссии Отделения истории АН СССР), Р. Маршалк (директор Польского информационно-культурного центра), А. И. Слива (зав. отделом ИНИОН АН СССР), Ю. С. Новопашин (зам. директора ИСБ) и другие поддержали создание Научного центра общеславянских исследований, подчеркнув целесообразность и своевременность этого шага, высказали ряд соображений о целях и формах работы Цеслава, структуре этой организации, источниках ее финансирования. Представитель Научно-координационного центра МИД СССР В. Ю. Кузьмин отметил, что Цеслав может сыграть важную роль связующего звена между учеными и советскими дипломатами, научными консультациями помочь последним в проведении внешней политики в условиях изменившихся реалий в Центральной и Юго-Восточной Европе. Профессор Тверского государ-

твенного университета М. М. Фрейденберг указал на значение создания Цеслава как центра, ставящего задачей объединение усилий историков СССР и специалистов по истории зарубежных славянских стран, для вузовской науки. Заместитель председателя Ассоциации украинистов России Ю. А. Лобынцев сообщил, что ряд научных центров и обществ Украины и Белоруссии выразили готовность и заинтересованность в сотрудничестве с Цеславом.

В заключение участники учредительного заседания приняли «Обращение», в котором, в частности, говорится:

«Сегодня славянские народы переживают переломный момент в своей истории. СССР, страны Центральной и Юго-Восточной Европы охвачены сложными и в целом безусловно позитивными процессами общественной трансформации. Вместе с тем крах тоталитарной «мировой социалистической системы» привел к определенной отчужденности между ранее входившими в нее странами и народами. В силу этого возникла реальная возможность того, что славистические исследования могут замкнуться в рамках той или иной страны или народа, что произойдет их неоправданное дробление, утратится их целостность как единого комплекса. При отсутствии взаимной согласованности исследований к этому же объективно может привести быстрый рост числа культурных и других центров и обществ, изучающих и пропагандирующих различные аспекты истории и культуры отдельных славянских стран и народов.

Рост национального самосознания славянских народов СССР, выражающийся, в частности, в тяге к «узнаванию» своего прошлого, с одной стороны, и в целом невысокий уровень политической культуры населения — с другой, приводят к тому, что те или иные исторические и культурные факты и события зачастую подаются массовому сознанию в виде, далеком от исторической правды. На наших глазах вместо старой рождается новая псевдонаучная мифология. И задача ученых-славистов состоит в том, чтобы противостоять этим тенденциям, не дать захлестнуть общественное сознание новым мифам, а научить людей понимать

свою историю и историю своих соседей во всей ее сложности, противоречивости, взаимосвязанности. Это — один из путей не допустить возникновения национальной и конфессиональной конфронтации, повысить культуру политических отношений, перейти от благо патернализма к равноправному взаимодействию.

Глубокие перемены, происходящие в славянском мире, открыли новые, значительно более широкие, чем это было ранее, перспективы связей с западными славистическими центрами, отдельными учеными-славистами, славянской диаспорой. Эти возможности необходимо реализовать максимально продуктивно.

Участники учредительного заседания исходят из того, что решение указанных задач возможно лишь на основе объединения усилий ученых-славистов, всех заинтересованных лиц и организаций в рамках неполитической независимой добровольной общественно-научной ассоциации. В таком качестве и должен выступать создаваемый Научный центр общеславянских исследований.

В наиболее общие задачи Цеслава входят: содействие развитию исследований в области славистики, помощь в проведении и реализации таких исследований, в обмене необходимой информацией; установление и расширение связей между заинтересованными научными, учебными, культурными, общественными и другими организациями СССР, зарубежных славянских стран и народов, других государств, славянской диаспоры; распространение научных знаний по истории и культуре славян.

Участники заседания призывают всех, кому близки идеи и цели Цеслава, откликнуться на это обращение».

В окончательном виде структуру Цеслава, его руководящие органы и формы работы было решено утвердить на встрече представителей институтов-соучредителей и всех заинтересованных сторон, провести которую предполагается в мае 1991 г.

Адрес Научного центра общеславянских исследований: Москва, Ленинский проспект, д. 32-а, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Цеслав. Почтовый индекс: 117334.

Васильев М. А.

15 ноября 1989 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) состоялась IV Чтения памяти академика В. И. Пичеты, проводимые в рамках «Историографических чтений» сектора историографических и источниковедческих проблем славяноведения и балканистики. Тема Чтений: «В. И. Пичета и некоторые проблемы развития советского славяноведения (К 50-летию образования сектора славяноведения Института истории АН СССР)». В конференции приняли участие специалисты ИСБ, МГУ, Минского педагогического института, родственники и коллеги покойного академика.

В докладах и оживленной дискуссии обсуждались сложные проблемы становления советского славяноведения, в котором самое непосредственное участие принимал и В. И. Пичета (1878—1947) — крупный ученый, педагог, общественный деятель.

Доклад канд. ист. наук М. А. Робинсона (ИСБ) «Проблемы внедрения марксизма в академическую науку конца 20-х — начала 30-х годов XX в.» открыл серию выступлений, касающихся общих вопросов развития советской славистики в межвоенный период. Он показал, в какое сложное положение были поставлены ученые «старой школы», когда в условиях утверждавшейся однопартийности и объявления марксизма единственно правильной научной теорией, они вынуждены были эмигрировать, уйти из науки или заявить о своей приверженности новой методологии, привести свои научные представления «в соответствие с классовыми воззрениями пролетариата». При этом трагедия идеологизированной и политизированной науки состояла в том, что «истинно марксистскими» объявлялись зачастую различные псевдонаучные теории, например, яфетическая теория Н. Я. Марра. Упрочение «нового учения о языке» в роли марксистского языкознания нанесло сильнейший удар по славяноведению. Марризм отвергал важнейшие признаки родства славянских народов — родство языковое. Славянская филология попадала в разряд наук «немарксистских» и практически запрещалась. Приверженность к марризму считалась признаком не только научной, но и политической лояльности ученого к советской власти. После 1929 г. был взят курс на удаление представителей академической славистики из научной жизни. Позднее было сфабриковано так называемое «академиче-

ское дело», закончившееся почти для всех его участников тюремным заключением.

Канд. ист. наук А. Н. Горяинов (ИСБ) в докладе «Советские слависты — жертвы сталинских репрессий» продолжил затронутую в первом выступлении тему и представил на основе подготовительных материалов к библиографическому словарю «Славяноведение в СССР» общую картину репрессий по отношению к ученым, занимавшимся историей зарубежных славян. Он показал, что по «делу» акад. С. Ф. Платонова, который якобы возглавлял «Союз борьбы за освобождение России» в 1931 г. проходили известные историки Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров, М. К. Любавский, В. И. Пичета и другие, притворенные к разным срокам ссылки. Профессор В. Н. Бенешевич был расстрелян в 1938 г. по обвинению в шпионаже. Среди репрессированных на Украине славистов можно назвать К. А. Копержинского и С. Ф. Петруся. В 1933 г. «по делу славистов» проходили Д. Д. Димитров, М. Н. Скачков, Б. М. Соколов, М. Н. Сперанский, А. М. Селищев, Н. Н. Дурново, Н. Л. Туницкий, Н. И. Кравцов, А. И. Павлович, В. Н. Кораблев, а позже и др. слависты. Одной из последних жертв репрессий стал в 1950 г. Н. Н. Улащик. Таким образом, факты свидетельствуют, что сталинские репрессии серьезно подорвали кадровые основы формирования советского славяноведения, прервав богатые традиции этой отрасли отечественной науки¹.

В дискуссии по обоим докладом обсуждался вопрос о противоречивой роли М. Н. Покровского в развитии советской славистики.

В докладе канд. ист. наук М. Ю. Доспаль (ИСБ) «Некоторые проблемы историко-славистических исследований в годы Великой Отечественной войны» был рассмотрен следующий период развития советского славяноведения. Начало второй мировой войны заставило советское руководство в поисках естественных союзников для создания единого антифашистского фронта обратиться к славянским народам и поддержало предложения А. Д. Удальцова, Н. С. Державина, В. И. Пичеты и других бывших на свободе авторитетных ученых о возрождении отечественного славяноведения. В 1939 г.

¹ См. также опубликованную в нашем журнале статью А. Н. Горяинова на эту тему (№ 2, 1990 г. — *Прим. ред.*).

были созданы сектор славяноведения в Институте истории АН СССР и кафедра истории южных и западных славян в МГУ. В 1943 г. там же была учреждена кафедра славянской филологии, в 1944 г. — Славянская комиссия при Президиуме АН СССР. Одновременно появились многочисленные публикации по истории славян в ведущих исторических журналах; основан специальный журнал «Славяне» (Орган Всеславянского комитета в Москве), готовились и выходили в свет сборники и монографии по славянской тематике. Основная проблематика тогдашних историко-славистических исследований определялась политико-пропагандистскими задачами (воспевание побед русского оружия, подвигов гуситов, Грюнвальдской битвы, освещение вклада славянских народов в мировую культуру, исторического значения идеи славянской взаимности, разоблачение фальсификаций фашистских историков и пр.). Романтизированный образ славянского мира, возрожденный в трудах советских историков, разумеется, был далек от исторической истины и был пересмотрен последующим развитием науки. Но в то же время автор отмечает, что в те годы временно был снят запрет на провозглашение общечеловеческих ценностей в противовес канонизированным «классовым интересам пролетариата», что позволило положительно оценивать достижения отечественного дореволюционного славяноведения.

Доклад д-ра ист. наук В. А. Дьякова (ИСБ) «Советская делегация на первом польском совещании историков-марксистов» продолжил тему о влиянии марксизма на историческую науку стран Восточной Европы. На Первой методологической конференции польских историков-марксистов в Отвоцке (под Варшавой) 28 декабря 1951 — 12 января 1952 г. присутствовали видные советские историки Б. Д. Греков, Е. А. Косминский, А. Л. Сидоров, П. Н. Третьяков. В своих выступлениях, как показывают опубликованные в двух томах материалы конференции, они сумели занять конструктивную позицию, стараясь подчеркнуть творческую сторону марксистско-ленинской методологии и отмежеваться от насаждаемого сверху догматизма. Тем самым они способствовали тому, что польская марксистская историография отстояла свой собственный путь развития, менее подверженный порокам догматизма и схематизма, чем советская наука эпохи сталинизма.

Остальные доклады и выступления были

посвящены вопросам научной биографии и перипетий жизненной судьбы академика В. И. Пичеты.

Канд. ист. наук Э. Г. Йоффе (Минский педагогический ин-т) коснулся обстоятельства ареста ученого в 1931 г., последующей ссылки в Вятку и Воронеж, а также распространенного среди наших славистов устного предания о его освобождении по личному распоряжению Сталина в связи с приездом в СССР президента Чехословакии Э. Бенеша, пожелавшего лично встретиться с ведущим советским славистом. Автор также поставил вопрос о необходимости изучения эволюции научного мировоззрения В. И. Пичеты, особенно в 20-е и 40-е годы.

Канд. ист. наук Ю. Ф. Иванов (МЗПИ) в сообщении «Новые материалы к биографии В. И. Пичеты» информировал об обстоятельствах ареста В. И. Пичеты, поводом к которому послужила передача им С. Ф. Платонову письма М. К. Любавского. Пичета был обвинен в буржуазном национализме и осужден на пять лет ссылки. Ю. Ф. Иванов прокомментировал последующие события, связанные с хлопотами Пичеты о своем освобождении, в частности, его оставшееся без ответа письмо в ЦИК СССР (1935) с просьбой о пересмотре дела, возвращении гражданских прав и пр. После освобождения В. И. Пичета в 1935—1938 гг. преподавал на рабфаке ГПИ им. В. И. Ленина.

Л. И. Уткина (журнал «Вопросы истории») рассказала о воспоминаниях В. И. Пичеты, обнаруженных ею в архиве и расшифрованных. Этот интереснейший документ личной биографии академика — воспоминания о детстве, юности, студенческих годах, друзьях и коллегах — был написан за три месяца тюремного заключения в Ленинграде и закончен в августе 1931 г. перед ссылкой в Вятку. Л. И. Уткиной удалось найти и несколько дневниковых записей Пичеты 1944 г., содержащих смелую критическую оценку состояния советского общества и негативную характеристику Сталина, во многом созвучные нашему времени.

Материалы Ю. Ф. Иванова и Л. И. Уткиной предполагает опубликовать журнал «Вопросы истории».

Был зачитан текст д-ра ист. наук Е. Н. Кушевой (ИИ АН СССР) «Подготовка научных кадров славистов в Институте истории АН СССР в годы Великой Отечественной войны», содержащий воспоминания автора о переписке и личных встречах с В. И. Пичетой. Она отметила замечательный талант ученого — воспи-

тателя кадров молодых советских славистов в тяжелые годы войны. На семинарах Пичеты господствовал дух творческого поиска, они были свободны от господствующих повсеместно догматизма и формализма.

С интересными личными воспоминаниями о В. И. Пичете — человеке и ученом — выступила канд. ист. наук Б. М. Руколь. Она рассказала также о богатствах личного архива академика, включающего огромное количество писем к нему его благодарных учеников и коллег, в том числе и зарубежных. Б. М. Руколь призвала пополнить архив письмами самого ученого, хранящимися в личных

архивах покойных И. С. Миллера, В. Д. Королюка и его ныне здравствующих учеников.

Конференцию завершил М. А. Робинсон, подчеркнув, что все доклады и сообщения нынешних Чтений освещали во многом неизвестные и трагические страницы становления советской славистики, на которых раньше исследователи предпочитали не останавливаться. Он отметил, что в следующем пятилетии сектор целиком переходит на тематику советского периода развития отечественного славноведения и балканистики.

Досталь М. Ю.

КОНФЕРЕНЦИЯ «СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

6—9 февраля 1990 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР прошла конференция «Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе». Оргкомитет конференции составили: акад. Н. И. Толстой (председатель), проф. С. Б. Бернштейн, д-р филол. наук В. А. Дыбо и канд. филол. наук Р. В. Булатова (секретарь). Четвертая по счету конференция¹, посвященная памяти замечательного лингвиста Владислава Марковича Иллич-Свитыча (1934—1966), была приурочена к 55-летию ученого.

На конференции обсуждались проблемы, благодаря работам В. М. Иллич-Свитыча ставшие узловыми для сравнительно-исторического языкознания 1) проблема отдаленного родства языков, 2) сравнительно-историческое изучение славянских, балто-славянских, индоевропейских и ностратических языков, 3) акцентология и тонология, 4) историческая и синхронная диалектология. Всего на конференции было прочитано 29 докладов (в тезисах объявлено — 32).

Основное место было отведено проблеме отдаленного родства языков — бурно развивающемуся направлению в компаративистике, начало которому было положено трудами В. М. Иллич-Свитыча (первой удачной реконструкцией праязыка большой макросемьи, названной ностратической: сюда входят семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский).

В последние годы успехи в изучении отдаленного родства языков открыли пути исследователям других макросемей. В настоящее время можно уверенно предполагать, по крайней мере наличие, 10 больших макросемей, к реконструкции

которых приступило или приступает сравнительно-историческое языкознание. Так, по-видимому, можно говорить о на-дене-синокавказской макросемье, в реконструкции праязыка которой получены серьезные результаты (С. А. Старостин, С. Л. Николаев). С меньшей степенью надежности доказано существование таких макросемей, как австрическая, предположенная еще И. Шмидтом. Реальные результаты получены для австро-тайской ветви Бенедиктом, и наличие связи австро-тайской ветви с австроазиатской принимается И. И. Пейросом. По установлению америндской семьи последние результаты получены американским ученым Дж. Гринбергом, а принадлежность к ней семей чукотско-камчатской, нивхской и алгонкино-ритванской показана О. А. Мудраком и С. Л. Николаевым.

Интенсивную деятельность по установлению ряда больших макросемей развил Дж. Гринберг. Помимо америндской семьи, им показана возможность существования так называемой индо-тихоокеанской макросемьи, объединяющей папуасские языки Новой Гвинеи и андоманские языки. По-видимому, на статус макросемей претендуют австралийские языки, кордофанские — Нигер-Конго, нило-сахарские и, возможно, койсанские языки Африки.

Претерпела некоторые изменения ностратическая макросемья. О. А. Мудраком был достаточно убедительно показан ностратический характер эско-алевутской семьи. С другой стороны, в рамках Ностратического семинара возникли сомнения в прямой принадлежности семито-хамитской семьи к ностратической. Прослеживается тенденция рассматривать семито-хамитские языки как макросемью, родственную ностратической (С. А. Старостин, А. Ю. Милитарев). Таким образом поставленная В. М. Иллич-Свитычем проблема выросла в такое разветвленное древо, у которого возможно появление новых ветвей.

Имеется явная тенденция к хронологическому углублению компаративистских штудий. Так, С. А. Старостин в докладе в Энн-Арборе (США, 1988 г.) представил доказательства родственных связей ностратической семьи с на-дене-синокавказской макросемьей. В настоящее время особенно среди американских исследователей наблюдается тенденция

¹ Первая конференция, приуроченная к выходу в свет посмертно изданного труда В. М. Иллич-Свитыча «Опыт сравнения ностратических языков». Т. I. М., 1971, прошла в 1972 г. (см. «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. 12—14 декабря. Предварительные материалы». М., 1972). Вторая, приуроченная к выходу II тома «Опыта», проведена в 1977 г. (см. «Конференция „Ностратические языки и ностратическое языкознание“. Тезисы докладов». М., 1977); третья конференция состоялась в 1984 г. (см. «Чтения памяти В. М. Иллич-Свитыча». — Советское славяноведение, 1985, № 2).

к глобальному сравнению языков мира. Это представляется повторением на новом витке того этапа собирательства, через который в свое время прошел В. М. Иллич-Свитыч (что отразилось в его карточках). Но он не остановился на этом этапе, не делал публикаций, понимая, что действительно продуктивным путем в компаративистике является последовательное сравнение и последовательно углубляющаяся реконструкция.

Непосредственно по данной проблематике были прочитаны следующие доклады: *М. Е. Алексеева* (Москва) «Морфологическая реконструкция и отдаленное родство языков». Автор считает, что распространенное мнение о невозможности реконструкции праязыкового состояния морфологии при отдаленном родстве языков является скорее всего следствием отсутствия полноценных сравнительно-исторических грамматик языковых семей, образующих ту или иную макросемью. В докладе *Е. А. Хелимского* (Москва) обращено внимание на соответствие уральских основ с консонантным аусласом, реконструированных автором, с индоевропейскими гетероклитическими основами. Многочисленные семито-хамитские дополнения к ностратическому словарю были сделаны в докладе *В. Э. Орла* и *О. А. Столбовой* (Москва). Несколько этимологических ностратических соответствий, большинство из которых слишком смелые, было предложено в докладе *В. П. Яйленко* (Москва). *В. Л. Цимбурский* (Москва) попытался показать ностратический характер морфологических формантов этрусского языка.

В русле той же проблематики были доклады, посвященные уточнению сравнительно-исторической фонетики дочерних ностратических семей: *О. А. Мудрака* (Москва) «Пратюрская система фонем в свете чувашских данных» и *А. В. Дыбо* (Москва) «Инлаутные гуттуральные в тунгусо-маньчжурском и праалтайском», продолжающие алтайские разработки В. М. Иллич-Свитыча. Доклад *В. Я. Портомоусло* (Москва) о функционировании лексических систем в условиях двуязычия явился серьезным вкладом в оживленно дискутируемую проблему хронологической глубины афразийской семьи языков и ее отношения к ностратической. *В. Э. Орел* (Москва) предложил уточнение реконструкции системы личных местоимений в семито-хамитском.

В результате реконструкции ряда мак-

росемей возникла возможность отделения древнейших контактных элементов лексики от изначально родственных корней. Исследование таких древнейших заимствований уже приобрело характер целого раздела «ностратического языкознания» и насчитывает ряд публикаций. К сожалению, эти разработки на конференции были представлены единственным докладом *И. И. Пейроса* (Москва) «О контактах между дравидийскими и австронезийскими языками».

Другой проблематикой, рассматриваемой на конференции, является акцентология и тонология, в разработку которой был внесен В. М. Иллич-Свитычем существенный вклад. Для докладов этой группы характерна как широкая и разнообразная привлекаемая материал (представленного славянской, сино-тибетской, алтайской, америндской, индонезийской и Нигер-Конго семьями), так и глубина решения акцентологическо-тонологических проблем. Оригинальная интерпретация системы славянских акцентуационных парадигм была представлена *В. Г. Склярченко* (Киев) в докладе «Акцентологический закон Хирта». *С. А. Старостин* (Москва) предложил убедительную систему соответствий японских и корейских акцентуационных (тональных) структур, что является решительным шагом на пути установления общеалтайских просодических отношений. Процессам тонообразования в тибетском и близкородственном ему тангутском языках был посвящен доклад *М. В. Софронова* (Москва). В докладе *В. Ф. Выдрин* (Ленинград) проведено исследование тональных классов в группе лоома (семья мандинго, макросемья Нигер-Конго). Реконструкции тонов и долгот в праязыке семьи хока (америндские языки) был посвящен доклад *Д. Р. Лецинера* (Москва). Продолжая разработку проблемы возникновения парадигматических акцентных систем и их типологии, *В. А. Дыбо* в своем докладе представил анализ тагальской акцентной системы, которая занимает особое место в ряду парадигматических акцентных систем и может быть поставлена в типологическое соотношение с тоновыми языками, характеризующимися скользящими тональными платформами.

Большое место на конференции занимала проблематика славянской диалектологии и сравнительной грамматики славянских и балтийских языков, которой В. М. Иллич-Свитыч много и продуктивно занимался в течение всей своей научной деятельности. Специально значению

работ Иллич-Свитыча в становлении и развитии карпатистики были посвящены доклады сотрудников Института славяноведения и балканистики АН СССР *Г. П. Клепиковой* («Гипотеза В. М. Иллич-Свитыча относительно роли „карпатской миграции славян“ в свете новых данных») и *Л. А. Гиндина* с *И. А. Калужской* («Вклад В. М. Иллич-Свитыча в карпатские ареально-этимологические исследования»). Вопрос о раннеславянском диалектном членении по данным лексики, исследованию которого было положено начало В. М. Иллич-Свитычем в выступлении на IV Международном съезде славистов, обсуждался в интересном докладе *Л. В. Куркиной* (Москва) «К проблеме карпатоукраинско-словенских лексических связей». Проблеме праславянского диалектного членения посвящен также доклад *Г. А. Цылуна* (Минск) «Специфические межславянские соответствия и реконструкция праславянской ареальной структуры». На значении работы В. М. Иллич-Свитыча о стадиях утраты ринезма для македонской диалектологии и для лингво-географии в целом остановился в своем докладе *С. Б. Бернштейн* (Москва). Интересное исследование развития системы средств относительного подчинения на лингво-географическом фоне было предложено в докладе *Е. И. Деминной* (Москва). Завершая обзор диалектологической проблематики на конференции, упомянем доклады сотрудников Института русского языка АН СССР *И. А. Букримской* («Множественность и собирательность на материале Именит. мн. существительных в русских говорах») и *А. В. Тер-Аванесовой* («Системы противопоставления фонем „типа О“ в русских говорах»). Оба доклада также тесно связаны с проблематикой раннеславянского диалектного членения.

Специально этимологическим проблемам реконструкции праславянского лексического фонда был посвящен доклад *Ж. Ж. Вавбот* (Москва), содержащий в качестве иллюстраций ряд новых этимологий.

Балто-славянская проблематика была представлена в докладах коллег из Вильнюса *С. Ю. Темчина* («О восстановлении незасвидетельствованных балто-славянских словообразовательных моделей и основы прилагательных») и *В. Чижмонаса* («Начальные слав. *je-/*o- в генетическом и типологическом аспектах»).

Важная для всего сравнительно-исторического языкознания проблема древних инфильтраций в языковые системы и связанная с ней проблема верификации праязыковой реконструкции нашла отражение в содержательном докладе *В. В. Мартынова* (Минск) («Презумпция генетической соотнесенности и верификации в компаративистике»).

Вне программы было представлено на конференции сообщение *В. Д. Фатневой* (Томск) «Был ли в индоевропейских языках квинарный счет?».

Дискуссия по докладам проходила заинтересованно и живо. В результате отменялись сильные, перспективные стороны исследований и обнажались слабые. Творческий дух конференции, действительно, способствовал выявлению характерных черт современного этапа развития сравнительно-исторических исследований по названным проблемам.

Предварительные материалы конференции в виде тезисов докладов были изданы отдельной книжечкой: «Конференция „Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе“ Памяти В. М. Иллич-Свитыча. 6—9 февраля 1990 г. Тезисы докладов». М., 1990.

Булатова Р., Дыбо В.

CONTENTS

Dostian I. S. The tsarism policy in the Eastern question: were the estimations of K. Marx and F. Engels correct? *Kuznechevsky V. D.* What conception of self-government was realized in Yugoslavia (Requiem to Boris Keedrich). *Borisio-nok J. A.* Contacts of M. A. Bakunin with the representatives of Polish liberation movement on the eve of the revolutions of 1848—1849. *Freidenberg M. M.* Problems of Dubrovnik history: Raguzian studies in the last twenty years. *Sliasky Yan.* (PR). From the history of Italo-Polish-Eastslavic literary relations of the XVI—XVIII centuries. *Lipatov A. V.* Evolution of the novel-epopee («Nights and days» by Maria Dombrowska: genre traditions and author's individuality). *Kovtun E. N.* Romantic fiction by Herbert Wells and Karel Chapek. *Orel V. E.* Baltic hydronymics and problems of Baltic and Slavic etnogenesis. *Maslennikova L. I.* To the fate of common gender nouns in a Polish dialect in Lithuania . . . 3

PEOPLE, EVENTS, FACTS

Kishkin L. The gallery of Russian painting in Nahoda (To the history of Czech-Russian relations in the field of art). *Rokina G.* Non-published manuscript by Jan Kollar «Die Getter von Retra» 95

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Maryina V. V. Gebhart J., Koutek J., Kuklik J. Na frontách tajné války. Kapitoly z boje československého zpravodajství proti nacismu v letech 1938—1941. *Semenov K. D.* Петрова. Самостоятельного управления на БЗНС. 1920—1923 гг. *Melnikov G. P. J.* Pánek. Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance. *Tseitlin R. M.* Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1. Úvod, zkratky. А—благъ. *D. S.* Ukrainian literature in common Slavic and world literary process 107

SCIENTIFIC LIFE

Vasilyev M. A. The foundation of the Scientific Centre of Common Slavic Researches. *Dostal M. J.* The IV-th Picheta's readings. *Bulatorva R., Dybo V.* The conference «Comparative-historical linguistics at the modern stage». 117

Технический редактор *Е. В. Сипицына*

Сдано в набор 11.12.90	Подписано к печати 31.01.91	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. кр.-отт. 12,3 тыс.
	Уч.-изд. л. 12,8	Бум. л. 4,0
Тираж 1061 экз.	Зак. 832	Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трубниковский переулок, д. 30а.
Телефон 290-27-40

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Баранов А. И.* Стефан Жеромский и русская литература (до 1918 года): Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1990, 22 с.
- Българската православна църква и освобождението на България от Османско робство: Документален сб. по случай 110-годишнина от освобождението / Съст. Смилов Б. П., Камбуров В. Д., София, 1989, 120 с.
- Библиографија на Македонската книжевност преведена во странство до 1985. Скопје, 1990, IV, 229 с. Спец. библиогр.
- Гайдучова Ю. Ю.* Функционална нагрукка суффикса *-иц-а* в современных сербохорватском, русском и чешском языках: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1990, 19 с.
- Дмитриев М. В.* Православие и реформация: Реформац. движения в восточно-слав. землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. М., 1990, 135 с. Библиогр., Имен. указ.
- Жеязкова А.* Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт, XV—XVIII век. София, 1990, 264 с. Библиогр.
- Иван Франко і світова культура: (Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11—15 верес. 1986 р.). Кн. 2. Київ, 1990. 16 л. іл. Текст на укр., рус., англ., фр., белорус., пол. яз. Библиогр.
- Игов С.* История на българската литература, 1878—1944. София, 1990, 443 с.
- Јеремић Д. М.* Естетика код Срба: Од средњег века до Светозара Марковића. Београд, 1989, VIII, 500 с.
- Каймакамова М.* Българска средновековна историопис: От края на VII — до първата четвърт на XV в. София, 1990, 204 с.
- Карцева З. И.* Особенности развития болгарской прозы 60—80-х годов (К пробл. цивилизации). М., 1990, 144 с. Библиогр.
- Кирило-мефодіівське товариство: у 3-х т. Київ, 1990.
- Кузнецкий В. Д.* Эволюция югославской концепции социализма М., 1990, 186 с. Библиогр.
- Культура народів Центральної и Юго-Восточної Європи XVIII—XIX вв. Типологія и взаємодія. М., 1990, 286 с.
- Маркова З.* Четата от 1868 година: По случай 150-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. София, 1990, 198 с.
- Младеновић М.* Буђење српског народа, 2 изд. Београд, 1989, 313 с.
- Парсаданова В. С.* Советско-польские отношения, 1945—1949. М., 1990, 192 с. Библиогр.
- Пецо А.* До Вука и од Вука: Нашим језичким стазама. Никшић, 1990, 380 с.
- Пиричжулов Ш. Д.* Польские школы и детские учреждения в СССР (1941—1946 гг.). Ташкент, 1990, 162 с. Библиогр.
- Прокофьева Д. С.* «Струн вещей пламенные звуки...» (Страницы польско-рус. лит. связей перв. пол. XIX века). М., 1990, 144 с. Библиогр.
- Славяне и их соседи: Этнопсихол. стереотипы в сред. века. Сборник. М., 1990, 139 с. Библиогр.
- Старобългарска литература. София, 1990, 188 с.
- 101 въпроса за дублетите в българския език / Съст.: Георгиева Е., Баракова П. София, 1990, 296 с. Библиогр.
- Человек в культуре народов Центральной и Юго-Восточной Европы: Междунар. конф. М., 1990, 58 с.
- Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской модели мира М., 1990, 207 с. Библиогр.
- Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1990, 210 с., ил., факс. (Древнейшие источники по истории народов СССР). Библиогр. Указ. имен и геогр.
- Этимологический словарь славянских языков: Православ. лекс. фонд, вып. 16 М., 1990, 264 с.
- Andrescu S.* Restitutio Daciae. București, 1989, 283 p.
- Božena Slančíková-Timrava, Koloman Banšell: Zb. z vedec. konf. o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy a Kolomana Banšella 1.a 2. oktobra 1987 v Lučenci. 1990, 249 s.
- Bůžek V.* Uvěropé podnikání nižší šlechty v předbělohorských čechách. 1989, 260 s., il.
- Ceská literární věda: Bohemistika. Praha, 1990.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1989.
- Folia historica Bohemica. Praha, 640 s., il.
- Interregional cultural relations between Polish territories and adjacent regions of Central and Eastern Europe. Warszawa, 1990, 216 s., ill., bibl.
- Jorga N.* Istoria românilor din Ardeal și Ungaria. București, 565 p.
- Justová J.* Dolnorakouské podunai v reném stredoveku: Slovanská archeologie k jeho osídlení v. 6.— 11. století. Praha, 1990, 344 s., ill., bibl.
- Knapková M.* Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha, 1989, 204 s., il.
- Korytkowska M.* Z problematyki składni konfrontatywnej: Na przykładzie bułgarskich i polskich zdan bezpodmiotowych. Wrocław etc. 1990, 179 s., il., bibl.
- Kulka J.* Leoš Janáček's aesthetic thinking. Praha, 1990, 75 s., bibl.⁴
- Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań, 1990.

- Miloš Alexander Barovský / Zost. Brezová L. Martin, 1990, 257 s., 10 l.il., bibl.
Mondo slavo e cultura italiana: Contributi ital. al 9 Congr. intern. degli slavisti,
Kiev, 1983, 360 p.
Nemcová E. Sémantická analýza verb dicendi. Brno, 1990, 134 s.
Pauliny E. Vývin slovenskej deklinácie. Brno, 1990, 266 s., bibl.
Rystewicz A. Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i
XVII wieku. Wrocław, 1990, 130 s.
Varsik B. Slovanské (slovenské) názvy na Slovensku a ich prevzatie Mad'armi
v 10.—12. storočí. Brno, 1990, 181 s.
Wereszycki H. Historia polityczna Polski, 1864—1918. Wrocław etc., 1990, 307 s.,
bibl.

1 р. 50 к.
Индекс 70891

Г 19
ВОЛХОНКА 18/2
ИН-Т РУССК ЯЗ АН СССР В-КА
70891 0